

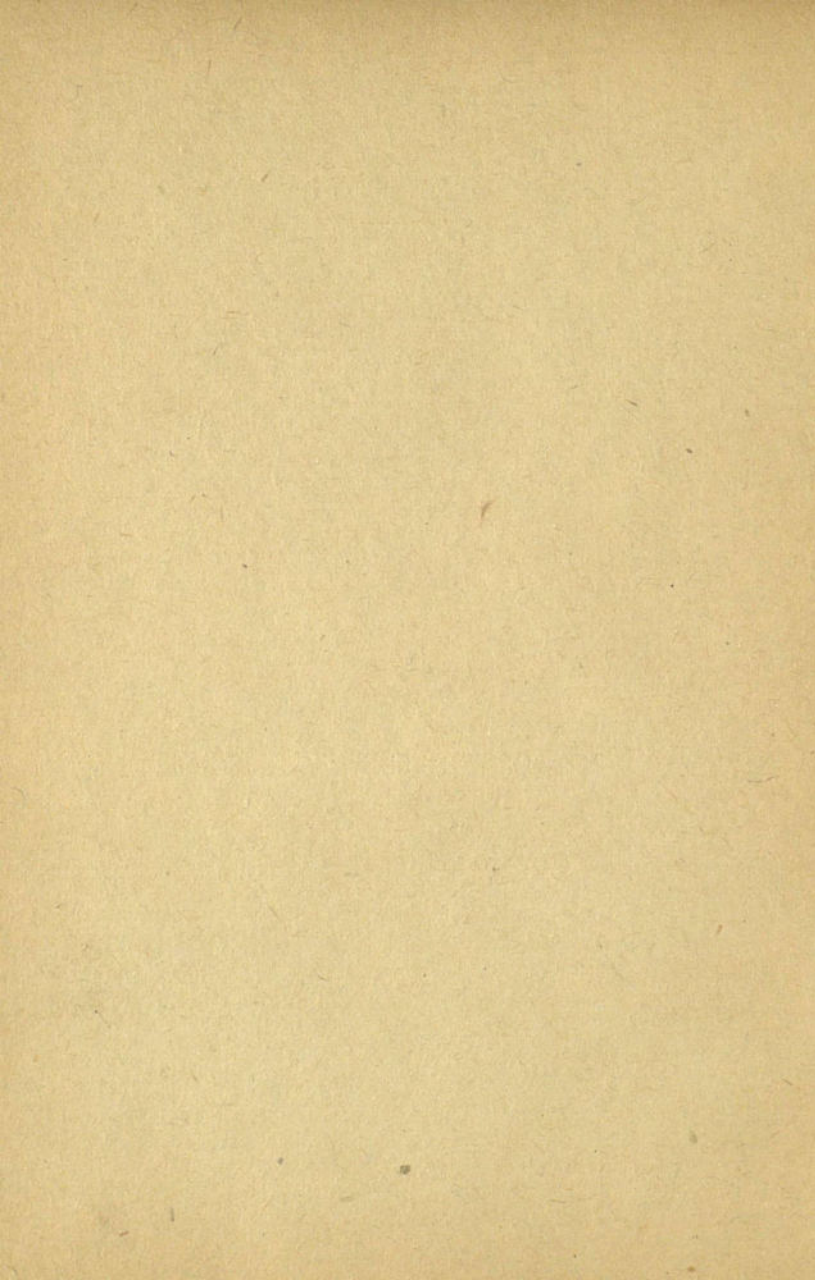


М.Ю. ЛЕРМОНТОВ

ИЗБРАННЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ

ДЕТГИЗ

1943



Л.49



Л 492

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

НДН РСФСР

Москва 1948 Ленинград

СОДЕРЖАНИЕ

Парус	3
Тучи	—
«На севере диком стоит одиноко...»	4
Утес	—
«Горные вершины...»	6
Казачья колыбельная песня	—
Бородино	9
Два великана	12
Три пальмы	13
Спор	16
«Взошла заря. Из-за туманов...»	20
«Люблю я цепь синих гор...»	21
«...Светает. В поле тишина...»	22
«Зима! Из глубины снегов...»	23
Родина	24
«Дубовый листок оторвался от ветки родимой...»	—
Воздушный корабль	26
Беглец	29
Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова	35
Ашпик-Кериб	54
Из романа «Герой нашего времени»	66



для начальной школы

Ответственный редактор В. Гакина.
 Подписано к печати 23/VI 1943 г. 5 печ. л. (3,65 уч.-изд. л.). 27 000 экз. в печ. л.
 Тираж 75 000 экз. Л142-94. Заказ № 8487. Цена 1 р. 20 к.

Фабрика детской книги Детгиза Наркомпроса РСФСР. Москва, Сущевский
 вал, 49.

П А Р У С

Белеет парус одинокой
В тумане моря голубом.
Что ищет он в стране далекой?
Что кинул он в краю родном?

Играют волны, ветер свищет,
И мачта гнется и скрипит;
Увы! он счастья не ищет
И не от счастья бежит!

Под ним струя светлей лазури,
Над ним луч солнца золотой, —
А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой!

Т У Ч И

Тучки небесные, вечные странники!
Степью лазурною, цепью жемчужною
Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники
С милого севера в сторону южную.

Кто же вас гонит: судьбы ли решение?
Зависть ли тайная? злоба ль открытая?
Или на вас тяготит преступление?
Или друзей клевета ядовитая?

Нет, вам наскучили нивы бесплодные...
Чужды вам страсти и чужды страдания;
Вечно-холодные, вечно-свободные,
Нет у вас родины, нет вам изгнания.

* * *

На севере диком стоит одиноко
На голой вершине сосна
И дремлет качаясь, и снегом сыпучим
Одета, как ризой, она.

И снится ей всё, что в пустыне далекой,
В том крае, где солнца восход,
Одна и грустна на утесе горячем
Прекрасная пальма растёт.

У Т Е С

Ночевала тучка золотая
На груди утеса-великана;
Утром в путь она умчалась рано,
По лазури весело играя;

Но остался влажный след в морщине
Старого утеса. Одиноко
Он стоит, задумался глубоко,
И тихонько плачет он в пустыне.



Сосна. С картины Шишкина.

Горные вершины
 Спят во тьме ночной;
 Тихие долины
 Полны свежей мглой;
 Не пылит дорога,
 Не дрожат листы...
 Подожди немного,
 Отдохнешь и ты.

КАЗАЧЬЯ КОЛЫБЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ

Спи, младенец мой прекрасный,
 Баюшки-баю.
 Тихо смотрит месяц ясный
 В колыбель твою.
 Стану сказывать я сказки,
 Песенку спою;
 Ты ж дремли, закрывши глазки,
 Баюшки-баю.
 По камням струится Терек,
 Плещет мутный вал;
 Злой чечен ползет на берег,
 Точит свой кинжал;
 Но отец твой старый воин,
 Закален в бою:
 Спи, малютка, будь спокоен,
 Баюшки-баю.

Сам узнаешь, будет время,
 Бранное житье;
 Смело вденешь ногу в стремя
 И возьмешь ружье.

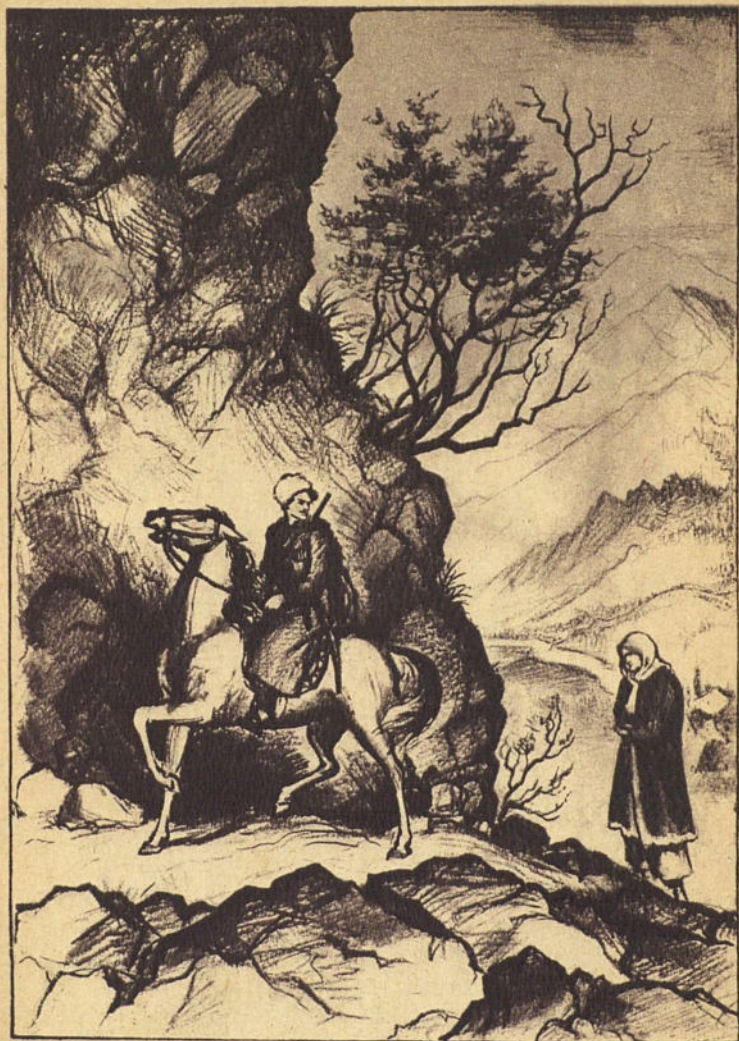


Кавказский вид. С картины Лермонтова.

Я седельце боевое
Шелком разошью...
Спи, дитя мое родное,
Баюшки-баю.

Богатырь ты будешь с виду
И казак душой.
Провожать тебя я выйду —
Ты махнешь рукой...
Сколько горьких слез украдкой
Я в ту ночь пролью!..
Спи, мой ангел, тихо, сладко,
Баюшки-баю.

Стану я тоской томиться,
Безутешно ждать;
Стану целый день молиться,
По ночам гадать;
Стану думать, что скучаешь
Ты в чужом краю...
Спи ж, пока забот не знаешь,
Баюшки-баю.



Казак.

Дам тебе я на дорогу
Образок святой:
Ты его, моляся богу,
Ставь перед собой;
Да готовясь в бой опасный,
Помни мать свою...
Спи, младенец мой прекрасный,
Баюшки-баю.

БОРОДИНО

«Скажи-ка, дядя, ведь не даром
Москва, спаленная пожаром,
Французу отдана?
Ведь были ж схватки боевые,
Да, говорят, еще какие!
Недаром помнит вся Россия
Про день Бородина!» —

«Да, были люди в наше время,
Не то, что нынешнее племя:
Богатыри — не вы!
Плохая им досталась доля:
Не многие вернулись с поля...
Не будь на то господня воля,
Не отдали б Москвы.

«Мы долго молча отступали,
Досадно было, боя ждали,
Ворчали старики:
«Что ж мы? на зимние квартиры?
Не смеют, что ли, командиры
Чужие изорвать мундиры
О русские штыки?»

«И вот нашли большое поле:
Есть разгуляться где на воле!

Построили редут.

У наших ушки на макушке!

Чуть утро осветило пушки

И леса синие верхушки —

Французы тут как тут.

«Забил заряд я в пушку туго

И думал: угощу я друга!

Постой-ка, брат, мусью:

Что тут хитрить, пожалуй к бою;

Уж мы пойдем ломить стеною,

Уж постоим мы головою

За родину свою!

«Два дня мы были в перестрелке.

Что толку в этакой безделке?

Мы ждали третий день.

Повсюду стали слышны речи:

«Пора добаться до картечи!»

И вот на поле грозной сечи

Ночная пала тень.

«Прилег вздремнуть я у лафета,

И слышно было до рассвета,

Как ликовал француз.

Но тих был наш бивак открытый:

Кто кивер чистил, весь избитый,

Кто штык точил, ворча сердито,

Кусая длинный ус.

«И только небо засветилось,

Все шумно вдруг зашевелилось,

Сверкнул за строем строй.

Полковник наш рожден был хватом:

Слуга царю, отец солдатам...



Бородино.

Да, жаль его: сражен булатом,
Он спит в земле сырой.

«И молвил он, сверкнув очами:
«Ребята! не Москва ль за нами?
Умремте ж под Москвой,
Как наши братья умирали!»
И умереть мы обещали,
И клятву верности сдержали
Мы в Бородинский бой.

«Ну ж был денёк! Сквозь дым летучий
Французы двинулись, как тучи,
И всё на наш редут.
Уланы с пестрыми значками,
Драгуны с конскими хвостами,
Все промелькнули перед нами,
Все побывали тут.

«Вам не видать таких сражений!..
Носились знамена, как тени,
В дыму огонь блестел,

Звучал булат, картечь визжала,
Рука бойцов колоть устала,
И ядрам пролетать мешала
Гора кровавых тел.

«Изведал враг в тот день немало,
Что значит русский бой удалый,
Наш рукопашный бой!..
Земля тряслась — как наши груди,
Смешались в кучу кони, люди,
И залпы тысячи орудий
Слились в протяжный вой...

«Вот смерклось. Были все готовы
Заутра бой затеять новый
И до конца стоять...
Вот затрещали барабаны —
И отступили бусурманы.
Тогда считать мы стали раны,
Товарищей считать.

«Да, были люди в наше время,
Могучее, лихое племя:
Богатыри — не вы.
Плохая им досталась доля:
Не многие вернулись с поля.
Когда б на то не божья воля,
Не отдали б Москвы».

ДВА ВЕЛИКАНА

В шапке золота литого
Старый русский великан
Поджидал к себе другого
Из далеких чуждых стран.

За горами, за долами
Уж гремел об нем рассказ;
И померяться главами
Захотелось им хоть раз.

И пришел с грозой военной
Трехнедельный удалец —
И рукою дерзновенной
Хвать за вражеский венец!

Но улыбкой роковою
Русский витязь отвечал:
Посмотрел — тряхнул главою...
Ахнул дерзкий — и упал!

Но упал он в дальнем море
На неведомый гранит,
Там, где буря на просторе
Над пучиною шумит.

ТРИ ПАЛЬМЫ

(Восточное сказание,

В песчаных степях аравийской земли
Три гордые пальмы высоко росли.
Родник между ними из почвы бесплодной,
Журча, пробивался волною холодной,
Хранимый, под сенью зеленых листов,
От знойных лучей и летучих песков.

И многие годы неслышно прошли;
Но странник усталый из чуждой земли
Пылающей грудью ко влаге студеной
Еще не склонялся под кущей зеленой,
И стали уж сохнуть от знойных лучей
Роскошные листья и звучный ручей.

И стали три пальмы на бога роптать:
«На то ль мы родились, чтоб здесь увядать?
Без пользы в пустыне росли и цвели мы,
Колеблемы вихрем и зноем палимы,
Ничей благосклонный не радуя взор?..
Неправ твой, о небо, святой приговор!»

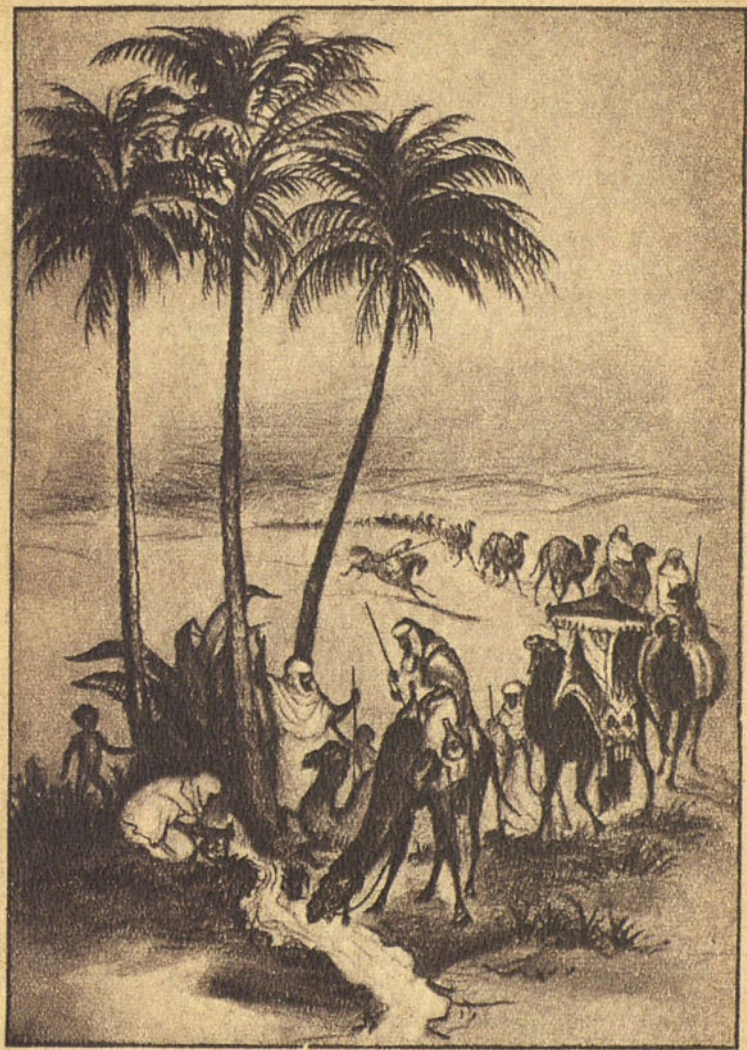
И только замолкли — в дали голубой
Столбом уж крутился песок золотой,
Звонков раздавались нестройные звуки,
Пестрели коврами покрытые вьюки,
И шел, колыхаясь, как в море челнок,
Верблюды за верблюдом, взрывая песок.

Мотаясь, висели меж твердых горбов
Узорные полы походных шатров;
Их смуглые ручки порой подымали,
И черные очи оттуда сверкали...
И, стан худощавый к луке наклоня,
Араб горячил вороного коня.

И конь на дыбы подымался порой,
И прыгал, как барс, пораженный стрелой;
И белой одежды красивые складки
По плечам фариса вились в беспорядке;
И, с криком и свистом несясь по песку,
Бросал и ловил он копье на скаку.

Вот к пальмам подходит, шумя, караван:
В тени их веселый раскинулся стан.
Кувшины, звуча, налились водою,
И, гордо кивая махровой главою,
Приветствуют пальмы нежданных гостей,
И щедро поит их студеный ручей.

Но только что сумрак на землю упал,
По корням упругим топор застучал,



В пустыне.

И пали без жизни питомцы столетий!
Одежду их сорвали малые дети,
Изрублены были тела их потом,
И медленно жгли их до утра огнем.

Когда же на запад умчался туман,
Урочный свой путь совершал караван;
И следом печальным на почве бесплодной
Виднелся лишь пепел седой и холодный;
И солнце остатки сухие дожгло,
А ветром их в степи потом разнесло.

И ныне всё дико и пусто кругом —
Не шепчутся листья с гремучим ключом:
Напрасно пророка о тени он просит —
Его лишь песок раскаленный заносит,
Да коршун хохлатый, степной нелюдим,
Добычу терзает и щиплет над ним.

С П О Р

Как-то раз перед толпою
Соплеменных гор
У Казбека с Шат-горою¹
Был великий спор.
«Берегись! — сказал Казбеку
Седовласый Шат. —
Покорился человеку
Ты не даром, брат!
Он настроит дымных келий
По уступам гор;
В глубине твоих ущелий
Загремит топор.

¹ Шат-гора — гора Эльбрус.

И железная лопата
В каменную грудь,
Добывая медь и злато,
Врежет страшный путь!
Уж проходят караваны
Через те скалы,
Где носились лишь туманы
Да цари-орлы.
Люди хитры! Хоть и труден
Первый был скачок,
Берегися! многолюден
И могуч Восток!» —
«Не боюсь я Востока, —
Отвечал Казбек, —
Род людской там спит глубоко
Уж девятый век.
Посмотри: в тени чинары
Пену сладких вин
На узорные шальвары
Сонный льет грузин;
И, склонясь в дыму кальяна
На цветной диван,
У жемчужного фонтана
Дремлет Тегеран.
Вот у ног Ерусалима,
Богом сожжена,
Безглагольна, недвижима
Мертвая страна;
Дальше, вечно чуждый тени,
Моет желтый Нил
Раскаленные ступени
Царственных могил;
Бедуин забыл наезды
Для цветных шатров.
И поет, считая звезды,
Про дела отцов.
Всё, что здесь доступно оку,

15691
693765
Российская государственная
детская библиотека

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
ДОЛЖА ОСТАВАТЬСЯ
ДЕТГИЗА

Спит, покой цenia...
Нет, не дряхлому Востоку
Покорить меня!» —

«Не хвались еще заране! —
Молвил старый Шат. —
Вот на севере в тумане
Что-то видно, брат!»

Тайно был Казбек огромный
Вестью той смущен,
И, смутясь, на север темный
Взоры кинул он.
И туда в недоуменьe
Смотрит, полный дум;
Видит странное движенье,
Слышит звон и шум.
От Урала до Дуная,
До большой реки,
Колыхаясь и сверкая,
Двигутся полки.
Веют белые султаны,
Как степной ковыль,
Мчатся пестрые уланы,
Подымая пыль.
Боевые батальоны
Тесно в ряд идут;
Впереди несут знамены,
В барабаны бьют.
Батареи медным строем
Скачут и гремят,
И, дымясь, как перед боем,
Фитили горят.
И, испытанный трудами
Бури боевой,
Их ведет, грозя очами,
Генерал седой.



Казбек.

Идут все полки могучи,
Шумны, как поток,
Страшно медленны, как тучи,
Прямо на восток.

* * *

И томим зловещей думой,
Полный черных снов,
Стал считать Казбек угрюмый —
И не счел врагов...
Грустным взором он окинул
Племя гор своих,
Шапку¹ на брови надвинул
И навек затих.

¹ Горцы называют шапкою облака, постоянно лежащие на вершине Казбека. — Примечание Лермонтова.



Кавказ. С картины Лермонтова.

* *

Взошла заря. Из-за туманов,
На небосклоне голубом,
Главы гранитных великанов
Встают, увенчанные льдом.
В ущельи облако проснулось,
Как парус розовый, надулось
И понеслось по вышине.
Всё дышит утром. За оврагом,
По косогору, едет шагом
Черкес на борзom скакуне.
Еще ленивое светило
Росы холмов не осушило.

Со скал высоких, над путем,
Склонился дикий виноградник;
Его серебряным дождем
Осыпан часто конь и всадник;
Небрежно бросив поводя,
Красивой плеткой он махает
И песню дедов иногда,
Склонясь на гриву, запекает.
И дальний отзыв за горой
Уныло вторит песне той.

.
*

Люблю я цепи синих гор,
Когда, как южный метеор,
Ярка без света и красна
Всплывает из-за них луна,
Царица лучших дум певца
И лучший перл того венца,
Которым свод небес порой
Гордится, будто царь земной.
На западе вечерний луч
Еще горит на ребрах туч,
И уступить всё медлит он
Луне — угрюмый небосклон;
Но скоро гаснет луч зари...
Высоко месяц. Две иль три
Младые тучки окружат
Его сейчас... Вот весь наряд,
Которым белое чело
Ему убрать позволено.
Кто не знал таких ночей
В ущельях гор иль средь степей?
Однажды при такой луне
Я мчался на лихом коне,

В пространстве голубых долин,
Как ветер, волен и один;
Туманный месяц и меня,
И гриву, и хребет коня
Сребристым блеском осыпал;
Я чувствовал, как конь дышал,
Как он, ударивши ногой,
Отбрасываем был землей;
И я в чудесном забытии
Движенья сковывал свои,
И с ним себя желал я слить,
Чтоб этим бег наш ускорить;
И долго так мой конь летел...
И вкруг себя я поглядел:
Всё та же степь, всё та ж луна:
Свой взор ко мне склонив, она,
Казалось, упрекала в том,
Что человек с своим конем
Хотел владычество степей
В ту ночь оспаривать у ней!..

ИЗ ПОЭМЫ «БОЯРИН ОРША»

...Светает. В поле тишина.
Густой туман, как пелена
С посеребренной каймой,
Клубится над Днепром рекой.
И сквозь него высокий бор,
Рассыпанный по скату гор,
Безмолвно смотрится в реке,
Едва чернея вдалеке.
И из-за тех густых лесов
Выходят стаи облаков,
А из-за них, огнем горя,
Выходит красная заря.

Блестят кресты монастыря;
По длинным башням и стенам
И по расписанным вратам
Прекрасный, чистый и живой,
Как счастье жизни молодой,
Играет луч ее златой.

ИЗ ПОЭМЫ «ВОЯРИН ОРША»

Зима! Из глубины снегов
Встают, чернея, пни дерёв,
Как призраки, склонясь челом
Над замерзающим Днепром.
Глядится тусклый день в стекло
Прозрачных льдин — и занесло
Овраги снегом. На заре
Лишь заяц крадется к норе
И, прыгая назад, вперед,
Свой след запутанный кладет;
Да иногда, во тьме ночной,
Раздастся псов протяжный вой,
Когда, голодный и худой,
Обходит волк вокруг гумна.
И если в поле тишина,
То даже слышны издали
Его тяжелые шаги,
И скрип, и шелканье зубов;
И каждый вечер меж кустов
Сто ярких глаз, как свечи в ряд,
Во мраке прыгают, блестят...

Р О Д И Н А

Люблю отчизну я, но странною любовью!
Не победит ее рассудок мой.
Ни слава, купленная кровью,
Ни полный гордого доверия покой,
Ни темной старины заветные преданья
Не шевелят во мне отрадного мечтанья.

Но я люблю — за что, не знаю сам! —
Ее степей холодное молчанье,
Ее лесов безбрежных колыханье,
Разливы рек ее, подобные морям...
Проселочным путем люблю скакать в телеге
И, взором медленным пронзая ночи тень,
Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге,
Дрожащие огни печальных деревень;

Люблю дымок спаленной жнивы,
В степи ночующий обоз
И на холме средь желтой нивы
Чету белеющих берез.
С отрадой, многим незнакомой,
Я вижу полное гумно,
Избу, покрытую соломой,
С резными ставнями окно;
И в праздник, вечером росистым,
Смотреть до полночи готов
На пляску с топаньем и свистом
Под говор пьяных мужичков.



Дубовый листок оторвался от ветки родимой
И в степь укатился, жестокою бурей гонимый;
Засох и увял он от холода, зноя и горя;
И вот наконец докатился до Черного моря.

У Черного моря чинара стоит молодая;
С ней шепчется ветер, зеленые ветви лаская;
На ветвях зеленых качаются райские птицы;
Поют они песни про славу морской царь-
девицы.

И странник прижался у корня чинары
высокой;
Приюта на время он молит с тоскою глубокой,
И так говорит он: «Я бедный листочек
дубовый,
До срока созрел я и вырос в отчизне суровой.

Один и без цели по свету ношуся давно я,
Засох я без тени, увял я без сна и покоя.
Прими же пришельца меж листьев своих
изумрудных,
Немало я знаю рассказов мудреных
и чудных». —

«На что мне тебя? — отвечает младая
чинара. —
Ты пылен и желт, — и сынам моим свежим
не пара.
Ты много видал — да к чему мне твои
небылицы?
Мой слух утомили давно уж и райские птицы.

Иди себе дальше; о странник! тебя я не знаю!
Я солнцем любима; цвету для него и блистаю;
По небу я ветви раскинула здесь на просторе;
И корни мои умывает холодное море».

ВОЗДУШНЫЙ КОРАБЛЬ

По синим волнам океана,
Лишь звезды блеснут в небесах,
Корабль одинокий несется,
Несется на всех парусах.

Не гнутся высокие мачты,
На них флюгера не шумят,
И молча в открытые люки
Чугунные пушки глядят.

Не слышно на нем капитана,
Не видно матросов на нем;
Но скалы, и тайные мели,
И бури ему нипочем.

Есть остров на том океане —
Пустынный и мрачный гранит;
На острове том есть могила,
А в ней император зарыт.

Зарыт он без почестей бранных
Врагами в сыпучий песок,
Лежит на нем камень тяжелый,
Чтоб встать он из гроба не мог.

И в час его грустной кончины,
В полночь, как свершается год,
К высокому берегу тихо
Воздушный корабль пристаёт.

Из гроба тогда император,
Очнувшись, является вдруг;
На нем треугольная шляпа
И серый походный сюртук.



Воздушный корабль.

Скрестивши могучие руки,
Главу опустивши на грудь,
Идет и к рулю он садится
И быстро пускается в путь.

Несется он к Франции милой,
Где славу оставил и трон,
Оставил наследника-сына
И старую гвардию он.

И только что землю родную
Завидит во мраке ночном,
Опять его сердце трепещет
И очи пылают огнем.

На берег большими шагами
Он смело и прямо идет,
Соратников громко он кличет
И маршалов грозно зовет.

Но спят усачи-гренадеры —
В равнине, где Эльба шумит,
Под снегом холодной России,
Под знойным песком пирамид.

И маршалы зова не слышат:
Иные погибли в бою,
Другие ему изменили
И продали шпагу свою.

И, топнув о землю ногою,
Сердито он взад и вперед
По тихому берегу ходит,
И снова он громко зовет:

Зовет он любезного сына,
Опору в превратной судьбе;

Ему обещает полмира,
А Францию только себе.

Но в цвете надежды и силы
Угас его царственный сын,
И долго, его поджидая,
Стоит император один.

Стоит он и тяжело вздыхает,
Пока озарится восток,
И капают горькие слезы
Из глаз на холодный песок.

Потом на корабль свой волшебный,
Главу опустивши на грудь,
Идет и, махнувши рукою,
В обратный пускается путь.

Б Е Г Л Е Ц

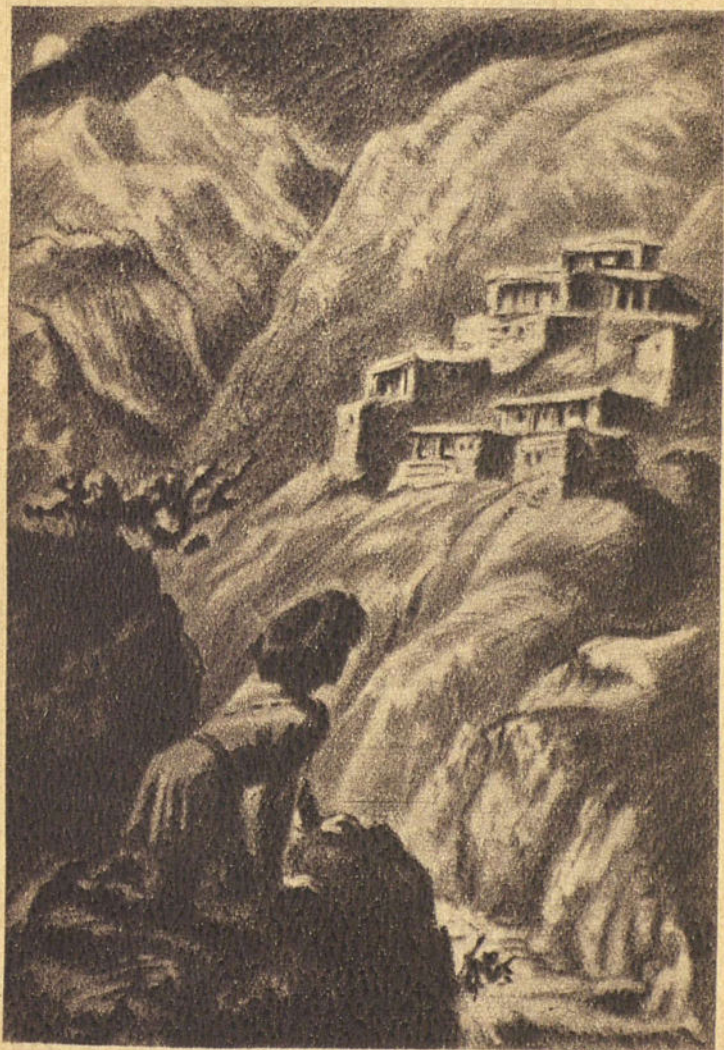
(Горская легенда)

Гарун бежал быстрее лани,
Быстрее, чем заяц от орла;
Бежал он в страхе с поля брани,
Где кровь черкесская текла;
Отец и два родные брата
За честь и вольность там легли;
И под пятой у супостата
Лежат их головы в пыли.
Их кровь течет и просит мщенья,
Гарун забыл свой долг и стыд;
Он растерял в пылу сраженья
Винтовку, шашку — и бежит!

И скрылся день; клубясь, туманы
Одели темные поляны
Широкой белой пеленой;
Пахнуло холодом с востока,
И над пустынею пророка
Встал тихо месяц золотой!..

Усталый, жаждою томимый,
С лица стирая кровь и пот,
Гарун меж скал аул родимый
При лунном свете узнает;
Подкрался он, никем не зримый...
Кругом молчанье и покой,
С кровавой битвы невредимый
Лишь он один пришел домой;

И к сакле он спешит знакомой,
Там блещет свет, хозяин дома;
Скрепяеь душой как только мог,
Гарун ступил через порог;
Селима звал он прежде другом,
Селим пришельца не узнал;
На ложе, мучимый недугом,
Один, — он молча умирал...
«...Велик аллах! от злой отравы
Он светлым ангелам своим
Велел беречь тебя для славы!» —
«Что нового?» — спросил Селим,
Подняв слабеющие вежды,
И взор блеснул огнем надежды!..
И он привстал, и кровь бойца
Вновь разыгралась в час конца.
«Два дня мы бились в теснине;
Отец мой пал, и братья с ним;
И скрылся я один в пустыне,
Как зверь, преследуем, гоним;
С окровавленными ногами



Аул.

От острых камней и кустов,
Я шел безвестными тропами
По следу вепрей и волков;
Черкесы гибнут — враг повсюду...
Прими меня, мой старый друг;
И вот пророк! твоих услуг
Я до могилы не забуду!..»
И умирающий в ответ:
«Ступай — достоин ты презренья.
Ни крова, ни благословенья
Здесь у меня для труса нет!..»
Стыда и тайной муки полный,
Без гнева вытерпев упрек,
Ступил опять Гарун безмолвный
За неприветливый порог.
И саклю новую минуя,
На миг остановился он,
И прежних дней летучий сон
Вдруг обдал жаром поцелуя
Его холодное чело.
И стал с сладко и светло
Его душе; во мраке ночи,
Казалось, пламенные очи
Блеснули ласково пред ним;
И он подумал: «Я любим;
Она лишь мной живет и дышит...»
И хочет он взойти — и слышит,
И слышит песню старины...
И стал Гарун бледней луны:

«Месяц плывет
И тих и спокоен,
А юноша-воин
На битву идет.
Ружье заряжает джигит,
А дева ему говорит:
Мой милый, смелее

Вверяйся ты року,
Молися востоку,
Будь верен пророку,
Будь славе вернее.
Своим изменивший
Изменой кровавой,
Врага не сразивши,
Погибнет без славы,
Дожди его ран не обмоют,
И звери костей не зароят.
Месяц плывет
И тих и спокоен,
А юноша-воин
На битву идет».

Главой поникнув, с быстротою
Гарун свой продолжает путь,
И крупная слеза порою
С ресницы падает на грудь...
Но вот, от бури наклоненный,
Пред ним родной белеет дом;
Надеждой снова ободренный,
Гарун стучится под окном.
Там, верно, теплые молитвы
Восходят к небу за него;
Старуха мать ждет сына с битвы,
Но ждет его не одного!..
«Мать, отвори! Я странник бедной,
Я твой Гарун, твой младший сын;
Сквозь пули русские безвредно
Пришел к тебе!» — «Один?» —

«Один!...» —

«А где отец и братья?» — «Пали!
Пророк их смерть благословил,
И ангелы их души взяли». —
«Ты отомстил?» — «Не отомстил...
Но я стрелой пустился в горы,

Оставил меч в чужом краю,
Чтобы твои утешить взоры
И утереть слезу твою...» —
«Молчи, молчи! гяур лукавой,
Ты умереть не мог со славой,
Так удались, живи один.
Твоим стыдом, беглец свободы,
Не омрачу я стары годы,
Ты раб и трус — и мне не сын!...»
Умолкло слово отверженья,
И всё кругом объято сном.
Проклятья, стоны и моленья
Звучали долго под окном;
И наконец удар кинжала
Пресек несчастного позор...
И мать поутру увидала...
И хладно отвернула взор.
И труп, от праведных изгнанный,
Никто к кладбищу не отнес,
И кровь с его глубокой раны
Лизал, рыча, домашний пес;
Ребята малые ругались
Над хладным телом мертвеца,
В преданьях вольности остались
Позор и гибель беглеца.
Душа его от глаз пророка
Со страхом удалилась прочь;
И тень его в горах востока
Поныне бродит в темну ночь,
И под окном поутру рано
Он в сакли просится, стуча,
Но, внемля громкий стих Корана,
Бежит опять под сень тумана,
Как прежде бегал от меча.

ПЕСНЯ ПРО ЦАРЯ ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА, МОЛОДОГО ОПРИЧНИКА И УДАЛОГО КУПЦА КАЛАШНИКОВА

Ох ты гой еси, царь Иван Васильевич!
Про тебя нашу песню сложили мы,
Про твоего любимого опричника
Да про смелого купца, про Калашникова;
Мы сложили ее на старинный лад,
Мы певали ее под гуслирный звон
И причитывали да присказывали.
Православный народ ею тешился,
А боярин Матвей Ромодановский
Нам чарку поднес меду пенного,
А боярыня его белолица
Поднесла нам на блюде серебряном
Полотенцо новое, шелком шитое.
Угощали нас три дни, три ночи,
И всё слушали — не наслушались.

I

Не сияет на небе солнце красное,
Не любятся им тучки синие:
То за трапезой сидит во златом венце,
Сидит грозный царь Иван Васильевич.
Позади его стоят стольники,
Супротив его всё бояре да князья,
По бокам его всё опричники;
И пирует царь во славу божию,
В удовольствие свое и веселие,

Улыбаясь, царь повелел тогда
Вина сладкого заморского
Нацедить в свой золоченый ковш
И поднести его опричникам.
И все пили, царя славили.

Лишь один из них, из опричников,
Удалой боец, буйный молодец,

В золотом ковше не мочил усов;
Опустил он в землю очи темные,
Опустил головушку на широку грудь, —
А в груди его была дума крепкая.

Вот нахмурил царь брови черные
И навел на него очи зоркие,
Словно ястреб взглянул с высоты небес
На молодого голубя сизокрылого, —
Да не поднял глаз молодой боец.
Вот об землю царь стукнул палкою,
И дубовый пол на полчетверти
Он железным пробил оконечником, —
Да не вздрогнул и тут молодой боец.
Вот промолвил царь слово грозное, —
И очнулся тогда добрый молодец.
«Гей ты, верный наш слуга, Кирибеевич,
Аль ты думу затаил нечестивую?
Али славе нашей завидуешь?
Али служба тебе честная прискучила?
Когда всходит месяц — звезды радуются,
Что светлей им гулять по поднёбесью;
А которая в тучку прячется,
Та стремглав на землю падает...
Неприлично же тебе, Кирибеевич,
Царской радостью гнушаться:
А из роду ты ведь Скуратовых,
И семьею ты вскормлен Малютиной!...»

Отвечает так Кирибеевич,
Царю грозному в пояс кланяясь:

«Государь ты наш, Иван Васильевич!
Не кори ты раба недостойного:
Сердца жаркого не залить вином,
Думу черную — не запотчевать!
А прогневал я тебя — воля царская:
Прикажи казнить, рубить голову;



Пир у Ивана Грозного. Рисунок В. Васнецова.

Тяготит она плечи богатырские,
И сама к сырой земле она клонится».

И сказал ему царь Иван Васильевич:
«Да об чем бы тебе, молодцу, кручиниться?
Не истерся ли твой парчевой кафтан?
Не измялась ли шапка соболиная?
Не казна ли у тебя поистратилась?
Иль зазубрилась сабля закаленная?
Или конь захромал худо кованный?
Или с ног тебя сбил на кулачном бою,
На Москве-реке, сын купеческий?»

Отвечает так Кирибеевич,
Покачав головою кудрявою:

«Не родилась та рука заколдованная
Ни в боярском роду, ни в купеческом;

Аргамак мой степной ходит весело;
Как стекло горит сабля вострая;
А на праздничный день твоей милостью
Мы не хуже другого нарядимся.
Как я сяду-поеду на лихом коне
За Москву-реку покатайся,
Кушачком подтянуса шелковым,
Заломлю на бочок шапку бархатную,
Черным соболем отороченную, —
У ворот стоят у тесовых
Красны девушки да молодушки
И любуются, глядя, перешептываясь;
Лишь одна не глядит, не любит, —
Полосатой фатой закрывается...

«На святой Руси, нашей матушке,
Не найти, не сыскать такой красавицы:
Ходит плавно — будто лебедушка,
Смотрит сладко — как голубушка,
Молвит слово — соловей поет,
Горят щеки ее румяные,
Как заря на небе божиим;
Косы русые, золотистые,
В ленты яркие заплетенные,
По плечам бегут, извиваются,
С грудью белою целуются.
Во семье родилась она купеческой, —
Прозывается Аленой Дмитривной.

«Как увижу ее, я и сам не свой:
Опускаются руки сильные,
Помрачатся очи бойкие;
Скучно, грустно мне, православный царь,
Одному по свету маяться.
Опостыли мне кони легкие,
Опостыли наряды парчовые,

И не надо мне золотой казны:
С кем казною своей поделюсь теперь?
Перед кем покажу удалство свое?
Перед кем я нарядом похвастаюсь?

«Отпусти меня в степи Приволжские,
На житье на вольное, на казацкое.
Уж сложу я там буйную головушку
И сложу на копье бусурманское;
И разделют по себе злы татаровья
Коня доброго, саблю острую
И седельце браное черкасское.
Мои очи слёзные коршун выклюет,
Мои кости сырые дождик вымоет,
И без похорон горемычный прах
На четыре стороны развеется!..»

И сказал, смеясь, Иван Васильевич:
«Ну, мой верный слуга! я твоей беде,
Твоему горю пособить постараюсь.
Вот возьми перстенок ты мой яхонтовый
Да возьми ожерелье жемчужное.
Прежде свахе смышленной поклоняйся
И пошли дары драгоценные
Ты своей Алене Дмитриевне:
Как полюбишься — праздную свадьбу,
Не полюбишься — не прогневайся». —

«Ох ты гой еси, царь Иван Васильевич!
Обманул тебя твой лукавый раб,
Не сказал тебе правды истинной,
Не поведал тебе, что красавица
В церкви божией перевенчана,
Перевенчана с молодым купцом
По закону нашему христианскому...»

Ай, ребята, пойте — только гусли стройте!
 Ай, ребята, пейте — дело разумеите!
 Уж потешьте вы доброго боярина
 И боярыню его белолицую!

II

За прилавкою сидит молодой купец,
 Статный молодец Степан Парамонович,
 По прозванию Калашников;
 Шелковые товары раскладывает,
 Речью ласковой гостей он заманивает,
 Злато, серебро пересчитывает.
 Да недобрый день задался ему:
 Ходят мимо баре богатые,
 В его лавочку не заглядывают.

Отзвонили вечерню во святых церквах;
 За Кремлем горит заря туманная;
 Набегают тучки на небо,
 Гонит их метелица распеваючи;
 Опустел широкий гостиный двор.
 Запирает Степан Парамонович
 Свою лавочку дверью дубовою
 Да замком немецким со пружиною;
 Злого пса-ворчуна зубастого
 На железную цепь привязывает,
 И пошел он домой призадумавшись
 К молодой хозяйке за Москву-реку.
 И приходит он в свой высокий дом,
 И дивится Степан Парамонович:
 Не встречает его молода жена,
 Не накрыт дубовый стол белой скатертью,
 А свеча перед образом еле теплится.
 И кличет он старую работницу:
 «Ты скажи, скажи, Еремеевна,
 А куда девалась, затаилась



Иван Грозный. С картины В. Васнецова.

В такой поздний час Алена Дмитриевна?
А что детки мои любезные —
Чай, забегались, заигрались,
Спозаранку спать уложились?» —

«Господин ты мой Степан Парамонович,
Я скажу тебе диво дивное:
Что к вечерне пошла Алена Дмитриевна;
Вот уж поп прошел домой с молодой
попадьей,

Засветили свечу, сели ужинать, —
А по-сю-пору твоя хозяйюшка
Из приходской церкви не вернулася.
А что детки твои малые
Почивать не легли, не играть пошли —
Плачем плачут, всё не унимаются».

И смутился тогда думой крепкою
Молодой купец Калашников;
И он стал к окну, глядит на улицу —
А на улице ночь темнѣхонька;
Валит белый снег, расстилается,
Заметает след человеческий.

Вот он слышит, в сенях дверью хлопнули;
Потом слышит шаги торопливые;
Обернулся, глядит — сила крестная!
Перед ним стоит молода жена,
Сама бледная, простоволосая,
Косы русые расплетенные
Снегом-инеем пересыпаны;
Смотрют очи мутные, как безумные;
Уста шепчут речи непонятные.

«Уж ты где, жена, жена, шаталася?
На каком подворье, на площади,
Что растрепаны твои волосы,
Что одѣжа твоя вся изорвана?

Уж гуляла ты, пировала ты,
Чай, с сынками всё боярскими!..
Не на то пред святыми иконами
Мы с тобою, жена, обручались,
Золотыми кольцами менялись...
Как запрю я тебя за железный замок,
За дубовую дверь окованную,
Чтоб свету божьего ты не видела,
Мое имя честное не порочила...»
И услышав то, Алена Дмитриевна
Задрожала вся, моя голубушка,
Затряслась, как листочек осиновый,
Горько-горько она восплакалась,
В ноги мужу повалилась.

«Государь ты мой, красно солнышко,
Иль убей меня, или выслушай!
Твои речи — будто острый нож;
От них сердце разрывается.
Не боюсь смерти лютой,
Не боюсь я людской молвы,
А боюсь твоей немилости.

«От вечерни домой шла я нониче
Вдоль по улице одинёшенька.
И послышалось мне, будто снег хрустит;
Оглянулася — человек бежит.
Мои ноженьки подкосились,
Шелковой фатой я закрылася.
И он сильно схватил меня за руки
И сказал мне так тихим шопотом:
«Что пужаешься, красная красавица?
Я не вор какой, душегуб лесной,
Я слуга царя, царя грозного,
Прозываюся Кирибеевичем,
А из славной семьи из Малютиной...»
Испугалась я пуще прежнего;

Закружилась моя бедная головушка.
И он стал меня целовать-ласкать,
И, цалуя, всё приговаривал:
«Отвечай мне, чего тебе надобно,
Моя милая, драгоценная!
Хочешь золота али жемчугу?
Хочешь ярких камней аль цветной парчи?
Как царицу, я наряжу тебя,
Станут все тебе завидовать,
Лишь не дай мне умереть смертью грешною:
Полюби меня, обними меня
Хоть единый раз на прощание!»

«И ласкал он меня, цаловал меня;
На щеках моих и теперь горят,
Живым пламенем разливаются
Поцалуи его окаянные...
А смотрели в калитку соседушки,
Смеючись, на нас пальцем показывали...

«Как из рук его я рванулася
И домой стремглав бежать бросилась;
И остались в руках у разбойника
Мой узорный платок, твой подарочек,
И фата моя бухарская.
Опозорил он, осрамил меня,
Меня, честную, непорочную, —
И что скажут злые соседушки,
И кому на глаза покажусь теперь?

«Ты не дай меня, свою верную жену,
Злым охульникам в поругание!
На кого, кроме тебя, мне надеяться?
У кого просить стану помощи?
На белом свете я сиротинушка;
Родной батюшка уж в сырой земле,

Рядом с ним лежит моя матушка;
А мой старший брат, сам ты ведаешь,
На чужой сторонущке пропал без вести,
А меньшей мой брат — дитя малое,
Дитя малое, неразумное...»

Говорила так Алена Дмитриевна,
Горючьими слезами заливалась.

Посылает Степан Парамонович
За двумя меньшими братьями;
И пришли его два брата, поклонилися
И такое слово ему молвили:
«Ты поведай нам, старшой наш брат,
Что с тобой случилось, приключилося,
Что послал ты за нами во темную ночь,
Во темную ночь, морозную?» —
«Я скажу вам, братцы любезные,
Что лиха беда со мною приключилася:
Опозорил семью нашу честную
Злой опричник царский Кирибеевич;
А такой обиды не стерпеть душе
Да не вынести сердцу молодецкому;
Уж как завтра будет кулачный бой
На Москве-реке при самом царе,
И я выду тогда на опричника,
Буду на смерть биться, до последних сил;
А побьет он меня — выходите вы
За святую правду-матушку.
Не сробейте, братцы любезные!
Вы моложе меня, свежэй силою,
На вас меньше грехов накопилось,
Так авось господь вас помилует!»

И в ответ ему братья молвили:
«Куда ветер дует в поднёбесьи,
Туда мчатся и тучки послушные;

Когда сизой орел зовет голосом
На кровавую долину побоища,
Зовет пир пировать, мертвецов убирать,
К нему малые орлята слетаются.
Ты наш старший брат, нам второй отец:
Делай сам, как знаешь, как ведаешь,
А уж мы тебя, родного, не выдадим».

* * *

Ай, ребята, пойте — только гусли стройте!
Ай, ребята, пейте — дело разумеите!
Уж потешьте вы доброго боярина
И боярыню его белолицую!

III

Над Москвой великой, златоглавою,
Над стеной кремлевской белокаменной,
Из-за дальних лесов, из-за синих гор,
По тесовым кровелькам играючи,
Тучки серые разгоняючи,
Заря алая подымается;
Разметала кудри золотистые,
Умывается снегами рассыпчатыми;
Как красавица, глядя в зеркальцо,
В небо чистое смотрит, улыбается.
Уж зачем ты, алая заря, просыпалася?
На какой ты радости разыгралася?

Как сходились, собирались
Удалые бойцы московские
На Москву-реку, на кулачный бой,
Разгуляться для праздника, потешиться.
И приехал царь со дружиною,
Со боярами и опричниками,
И велел растянуть цепь серебряную,
Чистым золотом в кольцах спаянную.
Оцепили место в 25 сажень
Для охотничьего бою, одиночного.



Москва. С картины В. Васнецова.

И велел тогда царь Иван Васильевич
Клич кликать звонким голосом:

«Ой, уж где вы, добрые молодцы?
Вы потешьте царя нашего батюшку,
Выходите-ка во широкий круг;
Кто побьет кого, того царь наградит;
А кто будет побит, того бог простит!»

И выходит удалой Кирибеевич,
Царю в пояс молча кланяется,
Скидаёт с могучих плеч шубу бархатную;
Подпершись в бок рукою правою,
Поправляет другой шапку алую,
Ожидает он себе противника...
Трижды громкой клич прокликали —
Ни один боец и не тронулся,
Лишь стоят да друг друга поталкивают.

На просторе опричник похаживает,
Над плохими бойцами подсмеивает:

«Присмирели, небось, призадумались!
Так и быть, обещаюсь для праздника,
Отпущу живого с покаанием,
Лишь потешу царя нашего батюшку».

Вдруг толпа раздалась в обе стороны —
И выходит Степан Парамонович,
Молодой купец, удалой боец,
По прозванию Калашников.
Поклонился прежде царю грозному,
После белому Кремлю да святым церквам,
А потом всему народу русскому.
Горят очи его соколиные,
На опричника смотрят пристально.
Супротив него он становится,
Боевые рукавицы натягивает,
Могутные плечи распрямливает
Да кудряву бороду поглаживает.

И сказал ему Кирибеевич:
«А поведай мне, добрый молодец,
Ты какого роду-племени,
Каким именем прозываешься?
Чтобы знать, по ком панихиду служить,
Чтобы было чем и похвастаться».
Отвечает Степан Парамонович:
«А зовут меня Степаном Калашниковым,
А родился я от честного отца,
И жил я по закону господнему:
Не позорил я чужой жены,
Не разбойничал ночью темною,
Не таился от свету небесного...
И промолвил ты правду истинную:
Об одном из нас будут панихиду петь,
И не позже, как завтра в час полуденный;
И один из нас будет хвастаться,
С удалыми друзьями пируячи;

Не шутку шутить, не людей смешить
К тебе вышел я теперь, бусурманский сын, —
Вышел я на страшный бой, на последний бой!»

И услышав то, Кирибеевич
Побледнел в лице, как осенний снег;
Бойки очи его затуманились,
Между сильных плеч пробежал мороз,
На раскрытых устах слово замерло...

Вот молча оба расходятся, —
Богатырский бой начинается.

Размахнулся тогда Кирибеевич
И ударил впервой купца Калашникова,
И ударил его посередь груди —
Затрещала грудь молодецкая,
Пошатнулся Степан Парамонович;
На груди его широкой висел медный крест
Со святыми мощами из Киева, —
И погнулся крест и вдавился в грудь;
Как роса, из-под него кровь закапала;
И подумал Степан Парамонович:
«Чему быть суждено, то и сбудется;
Постою за правду до-последнева!»
Изловчился он, приготовился,
Собрался со всею силою
И ударил своего ненавистника
Прямо в левый висок со всего плеча.
И опричник молодой застонал слегка,
Закачался, упал замертво;
Повалился он на холодный снег,
На холодный снег, будто сосенка,
Будто сосенка, во сыром бору
Под смолистый под корень подрубленная.
И увидев то, царь Иван Васильевич
Прогневался гневом, топнул о землю
И нахмурил брови черные;



Поединок. Рисунок В. Васнецова.

Повелел он схватить удалова купца
И привести его пред лицо свое.

Как возговорил православный царь:
«Отвечай мне по правде, по совести,
Вольной волею или нехотя
Ты убил на смерть мово верного слугу,
Мово лучшего бойца Кирибеевича?» —

«Я скажу тебе, православный царь:
Я убил его вольной волею,
А за что, про что — не скажу тебе,

Скажу только богу единому.
Прикажи меня казнить — и на плаху несть
Мне головушку повинную;
Не оставь лишь малых детушек,
Не оставь молодую вдову
Да двух братьев моих своей милостью...» —

«Хорошо тебе, детинушка,
Удалой боец, сын купеческий,
Что ответ держал ты по совести.
Молодую жену и сирот твоих
Из казны моей я пожалую,
Твоим братьям велю от сего же дня
По всему царству русскому широкому
Торговать безданно, беспошлинно,
А ты сам ступай, детинушка,
На высокое место лобное,
Сложи свою буйную головушку.
Я топор велю наточить-наострить,
Палача велю одеть-нарядить,
В большой колокол прикажу звонить,
Чтобы знали все люди московские,
Что и ты не оставлен моей милостью...»

Как на площади народ собирается,
Заунывный гудит, воеет колокол,
Разглашает всюду весть недобрую.
По высокому месту лобному
Во рубахе красной с яркой запонкой,
С большим топором наостренным,
Руки голые потираючи,
Палач весело похаживает,
Удалого бойца дожидается, —
А лихой боец, молодой купец,
Со родными братьями прощается:

«Уж вы, братцы мои, други кровные,
Поцалуемтесь да обнимемтесь



Казнь. Рисунок В. Васнецова.

На последнее расставание.
Поклонитесь от меня Алене Дмитриевне,
Закажите ей меньше печалиться,
Про меня моим детушкам не сказывать;
Поклонитесь дому родительскому,
Поклонитесь всем нашим товарищам,
Помолитесь сами в церкви божией
Вы за душу мою, душу грешную!»

И казнили Степана Калашникова
Смертью лютою, позорною;
И головушка бесталанная
Во крови на плаху покатилася.

Схоронили его за Москвой-рекой
На чистом поле промеж трех дорог,
Промеж Тульской, Рязанской, Владимирской,
И бугор земли сырой тут насыпали,
И кленовый крест тут поставили.
И гуляют-шумят ветры буйные
Над его безымянной могилкою;
И проходят мимо люди добрые, —
Пройдет стар человек — перекрестится,
Пройдет молодец — приосанится,
Пройдет девица — пригорюнится,
А пройдут гусяры — споют песенку.

* * *

Гей вы, ребята удалые,
Гусяры молодые,
Голоса заливные!
Красно начинали — красно и кончайте,
Каждому правдою и честью воздайте!
Тароватому боярину слава!
И красавице боярыне слава!
И всему народу христианскому
Слава!

АШИК-КЕРИБ

(Турецкая сказка)

Давно тому назад в городе Тифлисе жил один богатый турок. Много Аллах дал ему золота; но дороже золота была ему единственная дочь, Магуль-Мегери. Хороши звезды на небеси, но за звездами живут ангелы, и они еще лучше; так и Магуль-Мегери была лучше всех девушек Тифлиса. Был также в Тифлисе бедный Ашик-Кериб. Пророк не дал ему ничего, кроме высокого сердца и дара песен; играя на саазе (балалайка) и прославляя древних витязей Туркестана, ходил он по свадьбам увеселять богатых и счастливых. На одной свадьбе он увидал Магуль-Мегери, и они полюбили друг друга. Мало было надежды у бедного Ашик-Кериба получить ее руку, и он стал грустен, как зимнее небо.

Вот раз он лежал в саду под виноградником и наконец заснул. В это время шла мимо Магуль-Мегери с своими подругами, и одна из них, увидав спящего ашика (балалаечника), отстала и подошла к нему. «Что ты спишь под виноградником, — запела она, — вставай, безумный, твоя

газель идет мимо». Он проснулся, девушка порхнула прочь, как птичка. Магуль-Мегери слышала ее песню и стала ее бранить. «Если б ты знала, — отвечала та, — кому я пела эту песню, ты бы меня поблагодарила: это твой Ашик-Кериб». — «Веди меня к нему», сказала Магуль-Мегери, и они пошли. Увидав его печальное лицо, Магуль-Мегери стала его спрашивать и утешать. «Как мне не грустить, — отвечал Ашик-Кериб, — я тебя люблю, и ты никогда не будешь моею». — «Проси мою руку у отца моего, — говорила она, — и отец мой сыграет нашу свадьбу на свои деньги и наградит меня столько, что нам вдвоем достанет». — «Хорошо, — отвечал он, — положим, Аяк-Ага ничего не пожалеет для своей дочери; но кто знает, что после ты не будешь меня упрекать в том, что я ничего не имел и тебе всем обязан. Нет, милая Магуль-Мегери, я положил зарок на свою душу: обещаюсь семь лет странствовать по свету и нажить себе богатство либо погибнуть в дальних пустынях; если ты согласна на это, то по истечении срока будешь моею». Она согласилась, но прибавила, что если в назначенный день он не вернется, то она сделается женой Куршуд-бека, который давно уж за нее сватается.

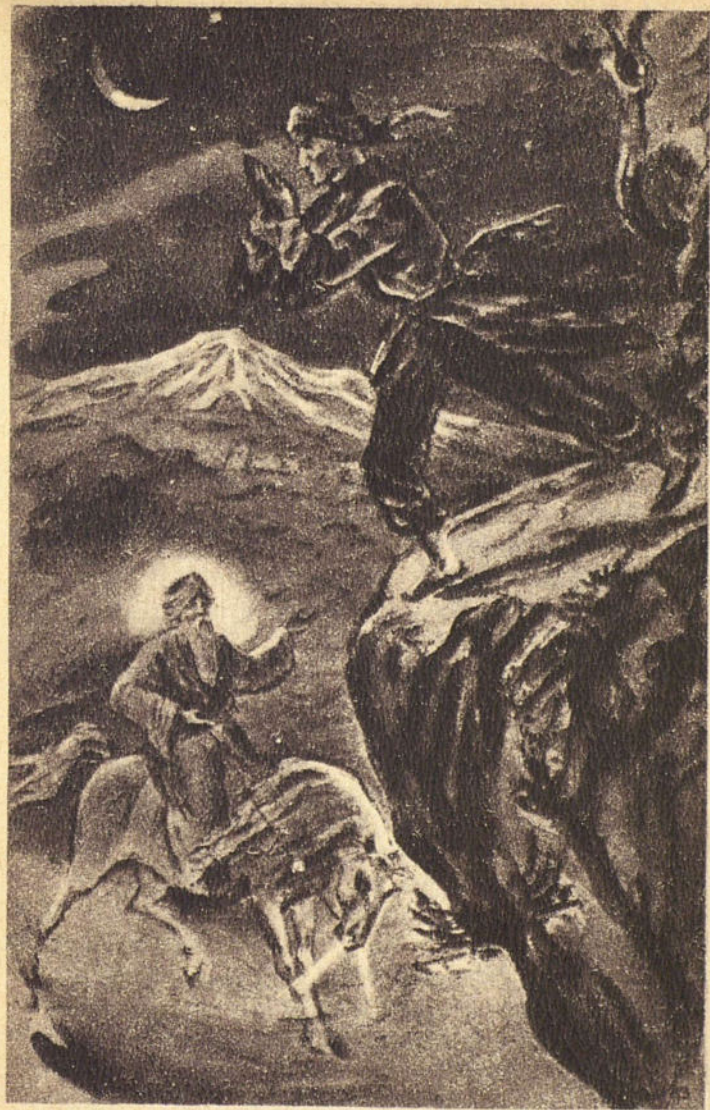
Пришел Ашик-Кериб к своей матери; взял на дорогу ее благословение, поцеловал маленькую сестру, повесил через плечо сумку, оперся на посох странничий и вышел из города Тифлиса. И вот догоняет его всадник; он смотрит: это Куршуд-бек. «Добрый путь! — кричал ему бек. — Куда бы ты ни шел, странник, я твой товарищ». Не рад был Ашик своему товарищу, но нечего делать. Долго они шли вместе, наконец завидели перед собою реку. Ни моста, ни брода.

«Плыви вперед, — сказал Куршуд-бек, — я за тобою последую». Ашик сбросил верхнее платье и поплыл. Переправившись, глядь назад — о горе! о всемогущий Аллах! — Куршуд-бек, взяв его одежды, уехал обратно в Тифлис; только пыль видась за ним змеею по гладкому полю. Прискакав в Тифлис, несет бек платье Ашик-Кериба к его старой матери. «Твой сын утонул в глубокой реке, — говорит он, — вот его одежда». В невыразимой тоске упала мать на одежды любимого сына и стала обливать их жаркими слезами; потом взяла их и понесла к нареченной невестке своей, Магуль-Мегери. «Мой сын утонул, — сказала она ей. — Куршуд-бек привез его одежды; ты свободна». Магуль-Мегери улыбнулась и отвечала: «Не верь, это всё выдумки Куршуд-бека; прежде истечения семи лет никто не будет моим мужем». Она взяла со стены свою сааз и спокойно начала петь любимую песню бедного Ашик-Кериба.

Между тем странник пришел бос и наг в одну деревню. Добрые люди одели его и накормили; он за это пел им чудные песни. Таким образом переходил он из деревни в деревню, из города в город, и слава его разнеслась повсюду. Прибыл он наконец в Халаф. По обыкновению, вошел в кофейный дом, спросил сааз и стал петь. В это время жил в Халафе паша, большой охотник до песенников. Многих к нему приводили, — ни один ему не понравился. Его чауши измучились, бегая по городу. Вдруг, проходя мимо кофейного дома, слышат удивительный голос. Они туда. «Иди с нами к великому паше, — закричали они, — или ты отвечаешь нам головою». — «Я человек вольный, странник из города Тифлиса, — говорит Ашик-Кериб; — хочу — пойду, хочу — нет; пою, когда

придется, и ваш паша мне не начальник». Однако, несмотря на то, его схватили и привели к паше. «Пой», сказал паша, — и он запел. И в этой песне он славил свою дорогую Магуль-Мегери, и эта песня так нравилась гордому паше, что он оставил у себя бедного Ашик-Кериба. Посыпалось к нему серебро и золото, заблистали на нем богатые одежды. Счастливо и весело стал жить Ашик-Кериб и сделался очень богат. Забыл он свою Магуль-Мегери или нет, не знаю, только срок истекал. Последний год скоро должен был кончиться, а он и не готовился к отъезду. Прекрасная Магуль-Мегери стала отчаиваться. В то время отправлялся один купец с караваном из Тифлиса с сорока верблюдами и восьмьюдесятью невольниками. Призывает она купца к себе и дает ему золотое блюдо. «Возьми ты это блюдо, — говорит она, — и в какой бы ты город ни приехал, выставь это блюдо в своей лавке и объяви везде, что тот, кто признается моему блюду хозяином и докажет это, получит его и, вдобавок, вес его золотом». Отправился купец; везде исполнял поручение Магуль-Мегери, но никто не признался хозяином золотому блюду. Уж он продал почти все свои товары и приехал с остальными в Халаф. Объявил он везде поручение Магуль-Мегери. Услыхав это, Ашик-Кериб прибегает в караван-сарай и видит золотое блюдо в лавке тифлисского купца. «Это мое!» сказал он, схватив его рукою. «Точно, твое, — сказал купец: — я узнал тебя, Ашик-Кериб. Ступай же скорее в Тифлис: твоя Магуль-Мегери велела тебе сказать, что срок истекает, и если ты не будешь в назначенный день, то она выйдет за другого». В отчаянии Ашик-Кериб схватил себя за голову: оставалось только три дня до роко-

вого часа. Однако он сел на коня, взял с собой суму с золотыми монетами — и поскакал, не жалея коня. Наконец, измученный бегун упал бездыханный на Арзинган-горе, что между Арзиньяном и Арзерумом. Что ему было делать: от Арзиньяна до Тифлиса два месяца езды, а оставалось только два дня. «Аллах всемогущий! — воскликнул он, — если ты уж мне не поможешь, то мне нечего на земле делать!» И хочет он броситься с высокого утеса. Вдруг видит внизу человека на белом коне и слышит громкий голос: «Оглан (юноша), что ты хочешь делать?» — «Хочу умереть», отвечал Ашик. «Слезай же сюда; если так, я тебя убью». Ашик спустился кое-как с утеса. «Ступай за мною», сказал грозно всадник. «Как я могу за тобою следовать, — отвечал Ашик, — твой конь летит, как ветер, а я отягощен сумою». — «Правда; повесь же суму свою на седло мое и следуй». Отстал Ашик-Кериб, как ни старался бежать. «Что ж ты отстаешь?» спросил всадник. «Как же я могу следовать за тобою, твой конь быстрее мысли, а я уж измучен». — «Правда; садись сзади на коня моего и говори всю правду: куда тебе нужно ехать?» — «Хотя бы в Арзерум поспеть нынче», отвечал Ашик. «Закрой же глаза». Он закрыл. «Теперь открой». Смотрит Ашик: перед ним белеют стены и блещут минареты Арзерума. «Виноват, Ага, — сказал Ашик, — я ошибся; я хотел сказать, что мне надо в Карс». — «То-то же, — отвечал всадник, — я предупредил тебя, чтоб ты говорил мне сущую правду. Закрой же опять глаза. Теперь открой». Ашик себе не верит, то, что это Карс. Он упал на колени и сказал: «Виноват, Ага, трижды виноват твой слуга Ашик-Кериб; но ты сам знаешь, что если человек решился лгать с утра, то должен лгать до



Ашик-Кериб.

конца дня: мне по-настоящему надо в Тифлис». — «Экой ты неверный! — сказал сердито всадник; — но нечего делать, прощаю тебе. Закрой же глаза. Теперь открой», прибавил он по прошествии минуты. Ашик вскрикнул от радости: они были у ворот Тифлиса. Принеся искреннюю свою благодарность и взяв свою суму с седла, Ашик-Кериб сказал всаднику: «Ага, конечно, благодеяние твое велико, но сделай еще больше; если я теперь буду рассказывать, что в один день поспел из Арзиньяна в Тифлис, мне никто не поверит: дай мне какое-нибудь доказательство». — «Наклонись, — сказал тот, улыбнувшись, — возьми из-под копыта коня комок земли и положи себе за пазуху; и тогда, если не станут верить истине слов твоих, то вели к себе привести слепую, которая семь лет уж в этом положении, помажь ей глаза — и она увидит». Ашик взял кусок земли из-под копыта белого коня; но только он поднял голову — всадник и конь исчезли. Тогда он убедился в душе, что его покровитель был не кто иной, как Хадерилиаз.

Только поздно вечером Ашик-Кериб отыскал дом свой. Стучит он в двери дрожащею рукою, говоря: «Ана, ана (мать), отвори! я божий гость, и холоден, и голоден; прошу, ради странствующего твоего сына,пусти меня». Слабый голос старухи отвечал ему: «Для ночлега путников есть дома богатых и сильных; есть теперь в городе свадьбы, ступай туда! там можешь провести ночь в удовольствии». — «Ана, — отвечал он, — я здесь никого знакомых не имею и потому повторяю мою просьбу: ради странствующего твоего сына,пусти меня!» Тогда сестра его говорит матери: «Мать, я встану и отворю ему двери». — «Негодная! — отве-

чала старуха; — ты рада принимать молодых людей и угощать их, потому что вот уже семь лет, как я от слез потеряла зрение». Но дочь, не внимая ее упрекам, встала, отворила двери и выпустила Ашик-Кериба. Сказав обычное приветствие, он сел и с тайным волнением стал осматриваться. И видит он, на стене висит, в пыльном чехле, его сладкозвучная сааз, и стал спрашивать у матери: «Что висит у тебя на стене?» — «Любопытный ты гость, — отвечала она, — будет и того, что тебе дадут кусок хлеба и завтра отпустят тебя с богом». — «Я уж сказал тебе, — возразил он, — что ты моя родная мать, а это сестра моя, и потому прошу объяснить мне, что это висит на стене?» — «Это сааз, сааз», отвечала старуха сердито, не веря ему. «А что значит сааз?» — «Сааз то значит, что на ней играют и поют песни». И просит Ашик-Кериб, чтоб она позволила сестре снять сааз и показать ему. «Нельзя, — отвечала старуха, — это сааз моего несчастного сына; вот уже семь лет она висит на стене, и ничья живая рука до нее не дотрагивалась». Но сестра его встала, сняла со стены сааз и отдала ему. Тогда он поднял глаза к небу и сотворил такую молитву: «О всемогущий Аллах! если я должен достигнуть до желаемой цели, то моя семиструнная сааз будет так же стройна, как в тот день, когда я в последний раз играл на ней!» И он ударил по медным струнам, и струны согласно заговорили; и он начал петь: «Я бедный Кериб (странник), и слова мои бедны; но великий Хадерилиаз помог мне спуститься с крутого утеса. Хотя я беден и бедны слова мои, узнай меня, мать, своего странника». После этого мать его зарыдала и спрашивает его: «Как тебя зовут?» — «Рашид» (простодушный), отвечал он. «Раз говори, дру-

гой раз слушай, Рашид, — сказала она, — своими речами ты изрезал сердце мое в куски. Нынешнюю ночь я во сне видела, что на голове моей волосы побелели, — я вот уж семь лет, как ослепла от слез; скажи мне ты, который имеешь его голос, когда мой сын придет?» И дважды со слезами она повторила ему просьбу. Напрасно он называл себя ее сыном, но она не верила. И спустя несколько времени просит он: «Позвольте, матушка, взять сааз и итти; я слышал, здесь близко есть свадьба; сестра меня проводит; я буду петь и играть, и всё, что получу, принесу сюда и разделю с вами». — «Не позволю, — отвечала старуха; — с тех пор, как нет моего сына, его сааз не выходила из дому». Но он стал клясться, что не повредит ни одной струны. «А если хоть одна струна порвется, — продолжал Ашик, — то отвечаю моим имуществом». Старуха ощупала его сумы и, узнав, что они наполнены монетами, отпустила его. Проводив его до богатого дома, где шумел свадебный пир, сестра осталась у дверей слушать, что будет.

В этом доме жила Магуль-Мегери, и в эту ночь она должна была сделаться женою Куршуд-бека. Куршуд-бек пировал с родными и друзьями, а Магуль-Мегери, сидя за богатою чатрой (занавесом) с своими подругами, держала в одной руке чашу с ядом, а в другой острый кинжал: она поклялась умереть прежде, чем опустит голову на ложе Куршуд-бека. И слышит она из-за чатры, что пришел незнакомец, который говорит: «Селям алейкум! вы здесь веселитесь и пируете, так позвольте мне, бедному страннику, сесть с вами; и за то я спою вам песню». — «Почему же нет, — сказал Куршуд-бек. — Сюда должны быть впускаемы песен-

ники и плясуны, потому что здесь свадьба; спой же что-нибудь, Ашик (певец), и я отпущу тебя с полной горстью золота».

Тогда Куршуд-бек спросил его: «А как тебя зовут, путник?» — «Шинди-гёрурсез (скоро узнаете)». — «Что это за имя! — воскликнул тот со смехом. — Я в первый раз такое слышу». — «Когда мать моя была мною беременна и мучилась родами, то многие соседи приходили к дверям спрашивать: сына или дочь бог ей дал; им отвечали — шинди-гёрурсез (скоро узнаете). И вот поэтому, когда я родился, мне дали это имя». После этого он взял сааз и начал петь:

«В городе Халафе я пил мисирское вино, но бог мне дал крылья, и я прилетел сюда в три дня».

Брат Куршуд-бека, человек малоумный, выхватил кинжал, воскликнув: «Ты лжешь! как можно из Халафа приехать сюда в три дня?»

«За что ж ты меня хочешь убить? — сказал Ашик. — Певцы обыкновенно со всех четырех сторон собираются в одно место; и я с вас ничего не беру; верьте мне или не верьте».

«Пускай продолжает», сказал жених, — и Ашик-Кериб запел снова:

«Утренний намаз творил я в Арзиньянской долине, полуденный намаз в городе Арзеруме; пред захождением солнца творил намаз в городе Карсе и вечерний намаз в Тифлисе. Аллах дал мне крылья, и я прилетел сюда; дай бог, чтоб я стал жертвою белого коня; он скакал быстро, как плясун по канату, с горы в ущелье, из ущелья на гору: Мевлян (господь наш) дал Ашику крылья, и он прилетел на свадьбу Магуль-Мегери».

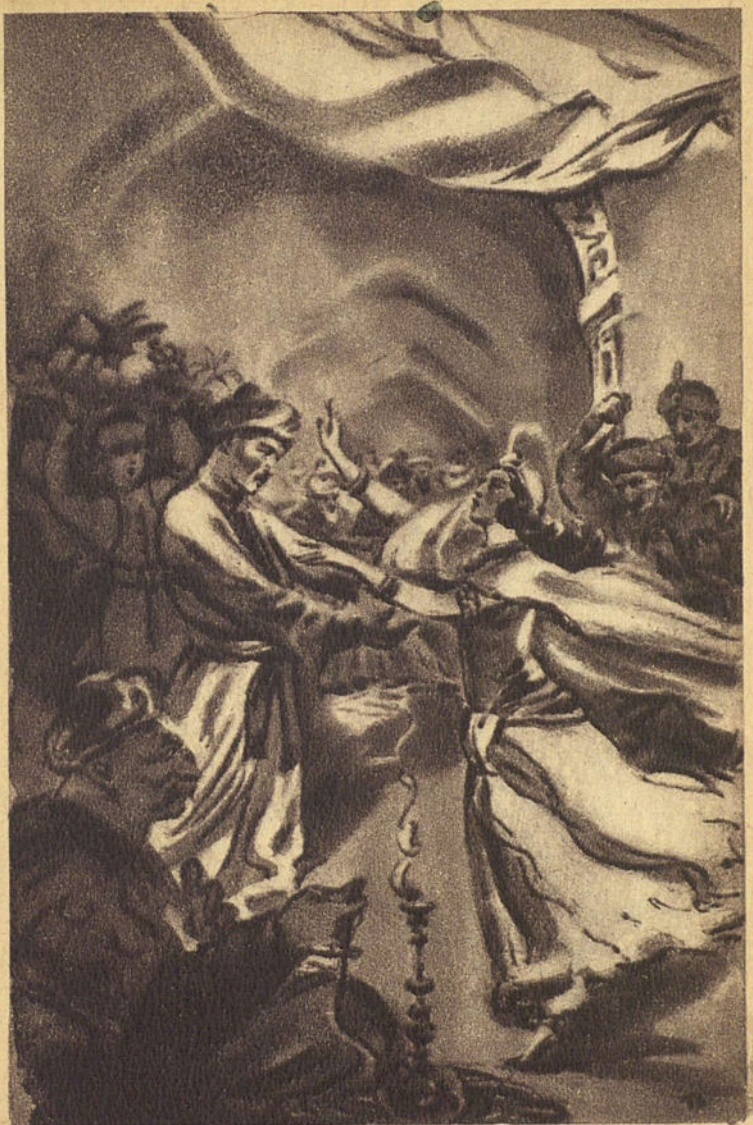
Тогда Магуль-Мегери, узнав его голос, бросила яд в одну сторону, а кинжал в другую.

«Так-то ты сдержала свою клятву, — сказала ее подруга. — Стало быть, сегодня ночью ты будешь женою Куршуд-бека?» — «Вы не узнали, а я узнала милый мне голос», отвечала Магуль-Мегери, и, взяв ножницы, она прорезала чатру. Когда же посмотрела и точно узнала своего Ашик-Кериба, то вскрикнула и бросилась к нему на шею, и оба упали без чувств. Брат Куршуд-бека бросился на них с кинжалом, намереваясь заколоть обоих, но Куршуд-бек остановил его, промолвив: «Успокойся и знай: что написано у человека на лбу при его рождении, того он не минует».

Придя в чувство, Магуль-Мегери покраснела от стыда, закрыла лицо рукою и спряталась за чатру.

«Теперь точно видно, что ты Ашик-Кериб, — сказал жених, — но поведай, как же ты мог в такое короткое время проехать такое великое пространство?» — «В доказательство истины, — отвечал Ашик, — сабля моя перерубит камень; если же я лгу, то да будет шея моя тоньше волоса. Но лучше всего приведите мне слепую, которая бы семь лет уже не видала свету божьего, и я возвращу ей зрение». Сестра Ашик-Кериба, стоя в сенях у двери и услышав такую речь, побежала к матери. «Матушка! — закричала она, — это точно брат, и точно твой сын Ашик-Кериб», и, взяв старуху под руку, привела ее на пир свадебный. Тогда Ашик взял комок земли из-за пазухи, развел его водою и намазал матери глаза, примолвя: «Знайте все люди, как могущ и велик Хадерилиаз», и мать его прозрела. После того никто не смел сомневаться в истине слов его, и Куршуд-бек уступил ему безмолвно прекрасную Магуль-Мегери.

Тогда в радости Ашик-Кериб сказал ему:



Ашик-Кериб и Магуль-Мегери.

«Послушай, Куршуд-бек, я тебя утешу! Сестра моя не хуже твоей прежней невесты; я богат, у ней будет не меньше серебра и золота; итак, возьми ее за себя — и будьте так же счастливы, как я с моей дорогою Магуль-Мегери».

ИЗ РОМАНА «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»

...Я тогда стоял в крепости за Тереком с ротой — этому скоро пять лет. Раз, осенью, пришел транспорт с провиантом; в транспорте был офицер, молодой человек лет двадцати пяти. Он явился ко мне в полной форме и объявил, что ему велено остаться у меня в крепости. Он был такой тоненький, беленький, на нем мундир был такой новенький, что я тотчас догадался, что он на Кавказе у нас недавно. «Вы, верно, — спросил я его, — переведены сюда из России?» — «Точно так, господин штабс-капитан», отвечал он. Я взял его за руку и сказал: «Очень рад, очень рад. Вам будет немножко скучно... ну, да мы с вами будем жить по-приятельски. Да, пожалуйста, зовите меня просто Максим Максимыч, и пожалуйста — к чему эта полная форма? приходите ко мне всегда в фуражке». Ему отвели квартиру, и он поселился в крепости.

— А как его звали? — спросил я Максима Максимовича.

— Его звали... Григорьем Александровичем Печориным. Славный был малый, смею вас уверить; только немножко странен. Ведь, например, в дождик, в холод, целый день на охоте; все иззябнут, устанут, а ему ничего. А другой раз сидит у себя в комнате, ветер пахнёт — уве-

ряет, что простудился; ставнем стукнет, он вздрогнет и побледнеет; а при мне ходил на кабана один-на-один; бывало, по целым часам слова не добьешься, зато уж иногда как начнет рассказывать, так животики надорвешь со смеха... Да-с, с большими странностями, и, должно быть, богатый человек: сколько у него было разных дорогих вещей!..

— А долго он с вами жил? — спросил я опять.

— Да с год. Ну, да уж зато памятен мне этот год; наделал он мне хлопот, не тем будь помянут! Ведь есть, право, этакие люди, у которых на роду написано, что с ними должны случаться разные необыкновенные вещи!

— Необыкновенные? — воскликнул я с видом любопытства, подливая ему чая.

— А вот я вам расскажу. Верст шесть от крепости жил один мирной князь. Сынишка его, мальчик лет пятнадцати, повадился к нам ездить: всякий день, бывало, то за тем, то за другим. И уж точно, избаловали мы его с Григорьем Александровичем. А уж какой был голово-рез, проворный на что хочешь: шапку ли поднять на всем скаку, из ружья ли стрелять. Одно было в нем нехорошо: ужасно падок был на деньги. Раз, для смеха, Григорий Александрович обещался ему дать червонец, коли он ему украдет лучшего козла из отцовского стада; и что ж вы думаете? на другую же ночь притащил его за рога. А бывало, мы его вздумаем дразнить, так глаза кровью и нальются, и сейчас за кинжал. «Эй, Азамат, не сносить тебе головы, — говорил я ему: — яман будет твоя башка!»

«Раз приезжает сам старый князь звать нас на свадьбу: он отдавал старшую дочь замуж,

а мы были с ним кунаки¹: так нельзя же, знаете, отказаться, хоть он и татарин. Отправились. В ауле множество собак встретило нас громким лаем. Женщины, увидя нас, прятались; те, которых мы могли рассмотреть в лицо, были далеко не красавицы. «Я имел гораздо лучшее мнение о черкешенках», сказал мне Григорий Александрович. «Погодите!» отвечал я, усмехаясь. У меня было свое на уме.

«У князя в сакле собралось уже множество народа. У азиатов, знаете, обычай всех встречаемых и поперечных приглашать на свадьбу. Нас приняли со всеми почестями и повели в кунацкую. Я, однакож, не позабыл подметить, где поставили наших лошадей, знаете, для непредвидимого случая.

— Как же у них празднуют свадьбу? — спросил я штабс-капитана.

— Да обыкновенно. Сначала мулла прочитает им что-то из Корана; потом дарят молодых и всех их родственников; едят, пьют бузу; потом начинается джигитовка, и всегда один какой-нибудь оборвыш, засаленный, на скверной, хромой лошаденке, ломается, паясничает, смешит честную компанию; потом, когда смеркнется, в кунацкой начинается, по-нашему сказать, бал. Бедный старичишка бренчит на трехструнной... забыл, как по-ихнему... ну, да вроде нашей балалайки. Девки и молодые ребята становятся в две шеренги, одна против другой, хлопают в ладоши и поют. Вот выходит одна девка и один мужчина на середину и начинают говорить друг другу стихи нараспев, что попало, а остальные подхватывают хором. Мы с Печориным сидели на почетном месте, и вот

¹ Кунак — значит приятель. *Примечание Лермонтова.*

к нему подошла меньшая дочь хозяина, девушка лет шестнадцати, и пропела ему... как бы сказать?... вроде комплимента.

— А что ж такое она пропела, не помните ли?

— Да, кажется, вот так: «Стройны, дескать, наши молодые джигиты, и кафтаны на них серебром выложены, а молодой русский офицер стройнее их, и галуны на нем золотые. Он как тополь между ними; только не расти, не цвести ему в нашем саду». Печорин встал, поклонился ей, приложил руку ко лбу и сердцу и просил меня отвечать ей; я хорошо знаю по-ихнему, и перевел его ответ.

«Когда она от нас отошла, тогда я шепнул Григорью Александровичу: «Ну что, какова?»

«Прелесть! — отвечал он. — А как ее зовут?» — «Ее зовут Бэлою», отвечал я.

«И точно, она была хороша: высокая, тоненькая, глаза черные, как у горной серны, так и заглядывали к вам в душу. Печорин в задумчивости не сводил с нее глаз, и она частенько исподлобья на него посматривала. Только не один Печорин любовался хорошенькой княжной: из угла комнаты на нее смотрели другие два глаза, неподвижные, огненные. Я стал вглядываться и узнал моего старого знакомого Казбича. Он, знаете, был не то чтоб мирной, не то чтоб не мирной. Подозрений на него было много, хоть он ни в какой шалости не был замечен. Бывало, он приводил к нам в крепость баранов и продавал дешево, только никогда не торговался: что запросит, давай, — хоть зарежь, не уступит. Говорили про него, что он любит таскаться за Кубань с абреками, и, правду сказать, рожа у него была самая разбойничья: маленький, сухой, широкоплечий... А уж ловок-то,

ловок-то был, как бес! Бешмет всегда изорванный, в заплатках, а оружие в серебре. А лошадь его славилась в целой Кабарде, — и точно, лучше этой лошади ничего выдумать невозможно. Недаром ему завидовали все наездники, и не раз пытались ее украсть, только не удавалось. Как теперь гляжу на эту лошадь: вороная, как смоль, ноги — струнки, и глаза не хуже, чем у Бэлы; а какая сила! скачи хоть на 50 верст; а уж выезжена — как собака бегаёт за хозяином, голос даже его знала! Бывало, он ее никогда и не привязывает. Уж такая разбойничья лошадь!..

«В этот вечер Казбич был угрюмее, чем когда-нибудь, и я заметил, что у него под бешметом надета кольчуга. «Недаром на нем эта кольчуга, — подумал я: — уж он, верно, что-нибудь замышляет».

«Душно стало в сакле, и я вышел на воздух освежиться. Ночь уж ложилась на горы, и туман начинал бродить по ущельям.

«Мне вздумалось завернуть под навес, где стояли наши лошади, посмотреть, есть ли у них корм, и притом осторожность никогда не мешает: у меня же была лошадь славная, и уж не один кабардинец на нее умильно поглядывал, приговаривая: *якши тхе, чек якши!*

«Пробираюсь вдоль забора — и вдруг слышу голоса; один голос я тотчас узнал: это был повеса Азамат, сын нашего хозяина; другой говорил реже и тише. «О чем они тут толкуют? — подумал я: — уж не о моей ли лошадке?» Вот присел я у забора и стал прислушиваться, стараясь не пропустить ни одного слова. Иногда шум песен и говор голосов, вылетая из сакли, заглушали любопытный для меня разговор.

«Славная у тебя лошадь! — говорил Аза-



Бѣла.

мат: — если б я был хозяин в доме и имел табун в триста кобыл, то отдал бы половину за твоего скакуна, Казбич!»

«А, Казбич!» подумал я и вспомнил кольчугу.

«Да, — отвечал Казбич после некоторого молчания: — в целой Кабарде не найдешь такой. Раз — это было за Тереком — я ездил с абреками отбивать русские табуны; нам не посчастливилось, и мы рассыпались кто куда. За мной неслись четыре казака; уж я слышал за собою крики гяуров, и передо мною был густой лес. Прилег я на седло, поручил себя аллаху и в первый раз в жизни оскорбил коня ударом плети. Как птица, нырнул он между ветвями; острые колючки рвали мою одежду, сухие сучья карагача били меня по лицу. Конь мой прыгал через пни, разрывал кусты грудью. Лучше было бы мне его бросить у опушки и скрыться в лесу пешком, да жаль с ним расстаться, — и пророк вознаградил меня. Несколько пуль провизжало над моей головою; я уж слышал, как спешившиеся казаки бежали по следам... Вдруг передо мною рытвина глубокая; скакун мой призадумался — и прыгнул. Задние его копыта оборвались с противного берега, и он повис на передних ногах. Я бросил поводья и полетел в овраг; это спасло моего коня: он выскочил. Казаки всё это видели, только ни один не спустился меня искать: они, верно, думали, что я убится до смерти, и я слышал, как они бросились ловить моего коня. Сердце мое облилось кровью; пополз я по густой траве вдоль по оврагу, — смотрю: лес кончился, несколько казаков выезжают из него на поляну, и вот выскакивает прямо к ним мой Карагёз; все кинулись за ним с криком; долго, долго они за ним гонялись, особенно один раза два чуть-чуть не накинул



Черкес.

ему на шею аркана; я задрожал, опустил глаза и начал молиться. Через несколько мгновений поднимаю их — и вижу: мой Карагёз летит, развевая хвост, вольный, как ветер, а гяуры далеко один за другим тянутся по степи на измученных конях. Валлах! это правда, истинная правда! До поздней ночи я сидел в своем овраге. Вдруг, что ж ты думаешь, Азамат? во мраке, слышу, бегаёт по берегу оврага конь, фыркает, ржет и

бьет копытами о землю; я узнал голос моего Карагёза: это был он, мой товарищ! С тех пор мы не разлучались».

«И слышно было, как он трепал рукою по гладкой шее своего скакуна, давая ему разные нежные названия.

«Если б у меня был табун в тысячу кобыл, — сказал Азамат, — то отдал бы тебе его весь за твоего Карагёза».

«Йок, не хочу», отвечал равнодушно Казбич.

«Послушай, Казбич, — говорил, ласкаясь к нему, Азамат: — ты добрый человек, ты храбрый джигит, а мой отец боится русских и не пускает меня в горы; отдай мне свою лошадь, и я сделаю всё, что ты хочешь, украду для тебя у отца лучшую его винтовку или шашку, что только пожелаешь, — а шашка его настоящая гурда: приложи лезвием к руке, сама в тело вопьется; а кольчуга — такая, как твоя, нипочем».

«Казбич молчал.

«В первый раз, как я увидел твоего коня, — продолжал Азамат, — когда он под тобой крутился и прыгал, раздувая ноздри, и кремни брызгами летели из-под копыт его, в моей душе сделалось что-то непонятное, и с тех пор всё мне опостылело: на лучших скакунов моего отца смотрел я с презрением, стыдно было мне на них показаться, и тоска овладела мной; и, тоскуя, просиживал я на утесе целые дни, и ежеминутно мыслям моим являлся вороной скакун твой с своей стройной поступью, с своим гладким, прямым, как стрела, хребтом; он смотрел мне в глаза своими бойкими глазами, как будто хотел слово вымолвить. Я умру, Казбич, если ты мне не продашь его!» сказал Азамат дрожащим голосом.



Казбич.

«Мне слышалось, что он заплакал: а надо вам сказать, что Азамат был преупрямый мальчишка, и ничем, бывало, у него слез не выбьешь, даже когда он был и помоложе.

«В ответ на его слезы слышалось что-то вроде смеха.

«Послушай! — сказал твердым голосом Азамат: — видишь, я на всё решаюсь. Хочешь, я украду для тебя мою сестру? Как она пляшет! как поет! а вышивает золотом — чудо! Не бывало такой жены и у турецкого падишаха... Хочешь? дождись меня завтра ночью там, в ущелье, где бежит поток: я пойду с нею мимо в соседний аул, — и она твоя. Неужели не стоит Бэла твоего скакуна?»

«Долго, долго молчал Казбич; наконец, вме-

сто ответа, он затянул старинную песню вполголоса:

Много красавиц в аулах у нас,
Звезды сияют во мраке их глаз.
Сладко любить их, завидная доля;
Но веселей молодецкая воля.
Золото купит четыре жены,
Конь же лихой не имеет цены:
Он и от вихря в степи не отстанет,
Он не изменит, он не обманет.

«Напрасно упрасивал его Азамат согласиться и плакал, и льстил ему, и клялся; наконец Казбич нетерпеливо прервал его:

«Поди прочь, безумный мальчишка! Где тебе ездить на моем коне? На первых трех шагах он тебя сбросит, и ты разобьешь себе затылок об камни».

«Меня!» крикнул Азамат в бешенстве, и железо детского кинжала зазвенело об кольчугу. Сильная рука оттолкнула его прочь, и он ударился об плетень так, что плетень зашатался. «Будет потеха!» подумал я, кинулся в конюшню, взнуздal лошадей наших и вывел их на задний двор. Через две минуты уж в сакле был ужасный гвалт. Вот что случилось: Азамат вбежал туда в разорванном бешмете, говоря, что Казбич хотел его зарезать. Все выскочили, схватились за ружья — и пошла потеха! Крик, шум, выстрелы; только Казбич уж был верхом и вертелся среди толпы по улице, как бес, отмахиваясь шашкой. «Плохое дело в чужом пиру похмелье, — сказал я Григорью Александровичу, поймав его за руку: — не лучше ли нам поскорей убраться?»

«Да погодите, чем кончится».

«Да уж верно кончится худо; у этих азиатов всё так: натянулись бузы, и пошла резня!» Мы сели верхом и ускакали домой.

— А что Казбич? — спросил я нетерпеливо у штабс-капитана.

— Да что этому народу делается! — отвечал он, допивая стакан чая: — ведь ускользнул!

— И не ранен? — спросил я.

— А бог его знает! Живущи, разбойники! Видал я-с иных в деле, например: ведь весь исколот, как решето, штыками, а всё махает шашкой.

Штабс-капитан после некоторого молчания продолжал, топнув ногою о землю:

— Никогда себе не прощу одного: чорт меня дернул, приехав в крепость, пересказать Григорью Александровичу всё, что я слышал, сидя за забором; он посмеялся, — такой хитрый! — а сам задумал кое-что.

— А что такое? Расскажите пожалуйста.

— Ну, уж нечего делать! начал рассказывать, так надо продолжать.

«Дня через четыре приезжает Азамат в крепость. По обыкновению, он зашел к Григорью Александровичу, который его всегда кормил лакомствами. Я был тут. Зашел разговор о лошадях, и Печорин начал расхваливать лошадь Казбича: уж такая-то она резвая, красивая, словно серна, — ну, просто, по его словам, такой и в целом мире нет.

«Засверкали глазенки у татарчонка, а Печорин будто не замечает; я заговорю о другом, а он, смотришь, тотчас соьвет разговор на лошадь Казбича. Эта история продолжалась всякий раз, как приезжал Азамат. Недели три спустя стал я замечать, что Азамат бледнеет и сохнет, как бывает от любви в романах-с. Что за диво?..

«Вот видите, я уж после узнал всю эту штуку: Григорий Александрович до того его задразнил, что хоть в воду. Раз он ему и скажи:

«Вижу, Азамат, что тебе больно понравилась эта лошадь: а не видать тебе ее, как своего затылка! Ну, скажи, что бы ты дал тому, кто тебе ее подарил бы?..»

«Всё, что он захочет», отвечал Азамат.

«В таком случае я тебе ее достану, только с условием... Поклянись, что ты его исполнишь...»

«Клянусь... клянись и ты!»

«Хорошо! Клянусь, ты будешь владеть конем; только за него ты должен отдать мне сестру Бэлу: Карагёз будет ее калымом. Надеюсь, что торг для тебя выгоден».

«Азамат молчал.

«Не хочешь? Ну, как хочешь! Я думал, что ты мужчина, а ты еще ребенок: рано тебе ездить верхом...»

«Азамат вспыхнул. «А мой отец?» сказал он.

«Разве он никогда не уезжает?»

«Правда...»

«Согласен?..»

«Согласен, — прошептал Азамат, бледный, как смерть. — Когда же?»

«В первый раз, как Казбич приедет сюда; он обещался пригнать десяток баранов; остальное — мое дело. Смотри же, Азамат!»

«Вот они и сладили это дело... по правде сказать, нехорошее дело! Я после и говорил это Печорину, да только он мне отвечал, что дикая черкешенка должна быть счастлива, имея такого милого мужа, как он, потому что по-ихнему он все-таки ее муж, а что Казбич — разбойник, которого надо было наказать. Сами посудите, что ж я мог отвечать против этого?.. Но в то время я ничего не знал об их заговоре. Вот раз приехал Казбич и спрашивает, не нужно ли баранов и меда; я велел ему привести на другой

день. «Азамат! — сказал Григорий Александрович: — завтра Карагёз в моих руках; если нынче ночью Бэла не будет здесь, то не видать тебе коня...»

«Хорошо!» сказал Азамат и поскакал в аул. Вечером Григорий Александрович вооружился и выехал из крепости: как они сладили это дело, не знаю, — только ночью они оба возвратились, и часовой видел, что поперек седла Азамата лежала женщина, у которой руки и ноги были связаны, а голова окутана чадрой.

— А лошадь? — спросил я у штабс-капитана.

— Сейчас, сейчас. На другой день утром рано приехал Казбич и пригнал десяток баранов на продажу. Привязав лошадь у забора, он вошел ко мне; я попотчевал его чаем, потому что хотя разбойник он, а все-таки был моим кунаком.

«Стали мы болтать о том, о сем... Вдруг смотрю, Казбич вздрогнул, переменился в лице — и к окну; но окно, к несчастью, выходило на задворье. «Что с тобой?» спросил я.

«Моя лошадь!.. лошадь!» сказал он, весь дрожа.

«Точно, я услышал топот копыт. «Это, верно, какой-нибудь казак приехал...»

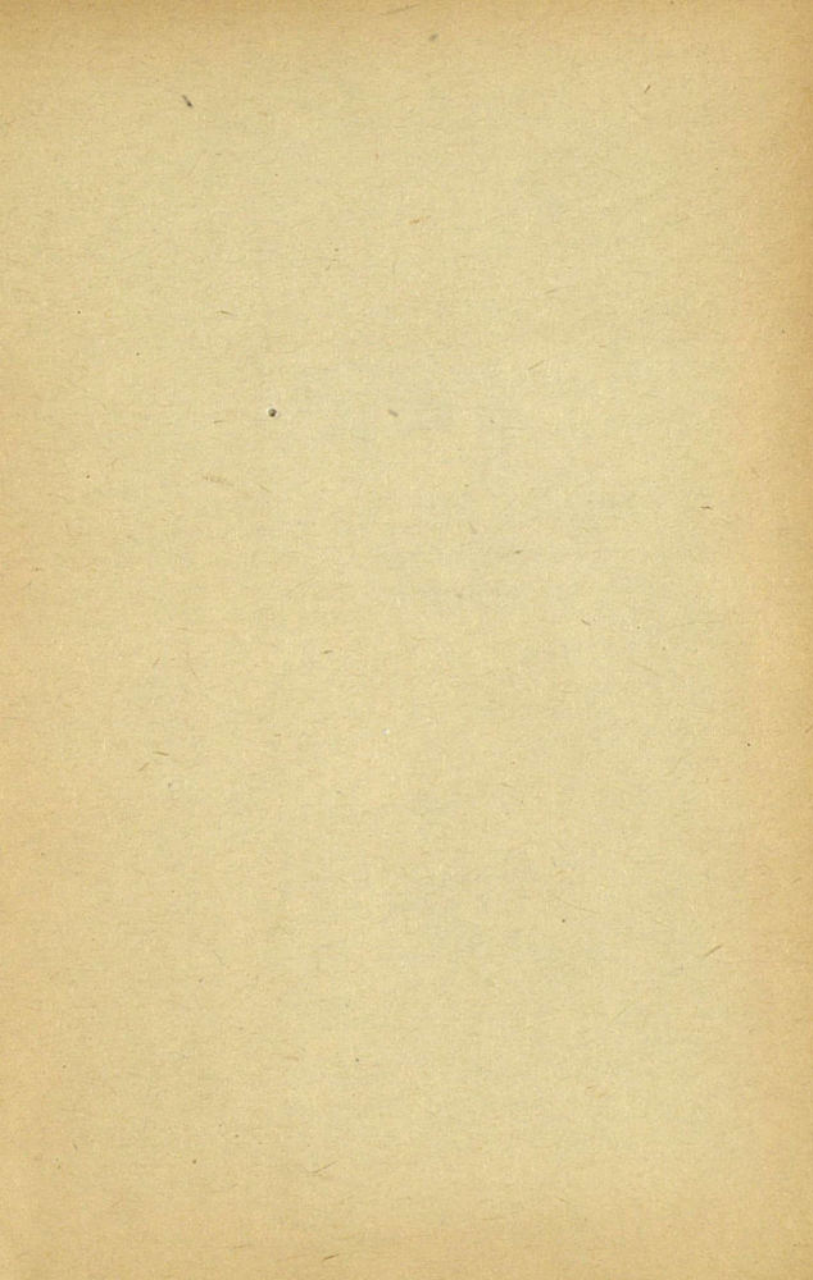
«Нет! Урус-яман, яман!» заревел он и опрометью бросился вон, как дикий барс. В два прыжка он был уж на дворе; у ворот крепости часовой загородил ему путь ружьем; он перескочил через ружье и кинулся бежать по дороге... Вдали вилась пыль — Азамат скакал на лихом Карагёзе; на бегу Казбич выхватил из чехла ружье и выстрелил. С минуту он остался неподвижен, пока не убедился, что дал промах; потом завизжал, ударил ружье о камень, разбил его вдребезги, повалился на землю и зары-

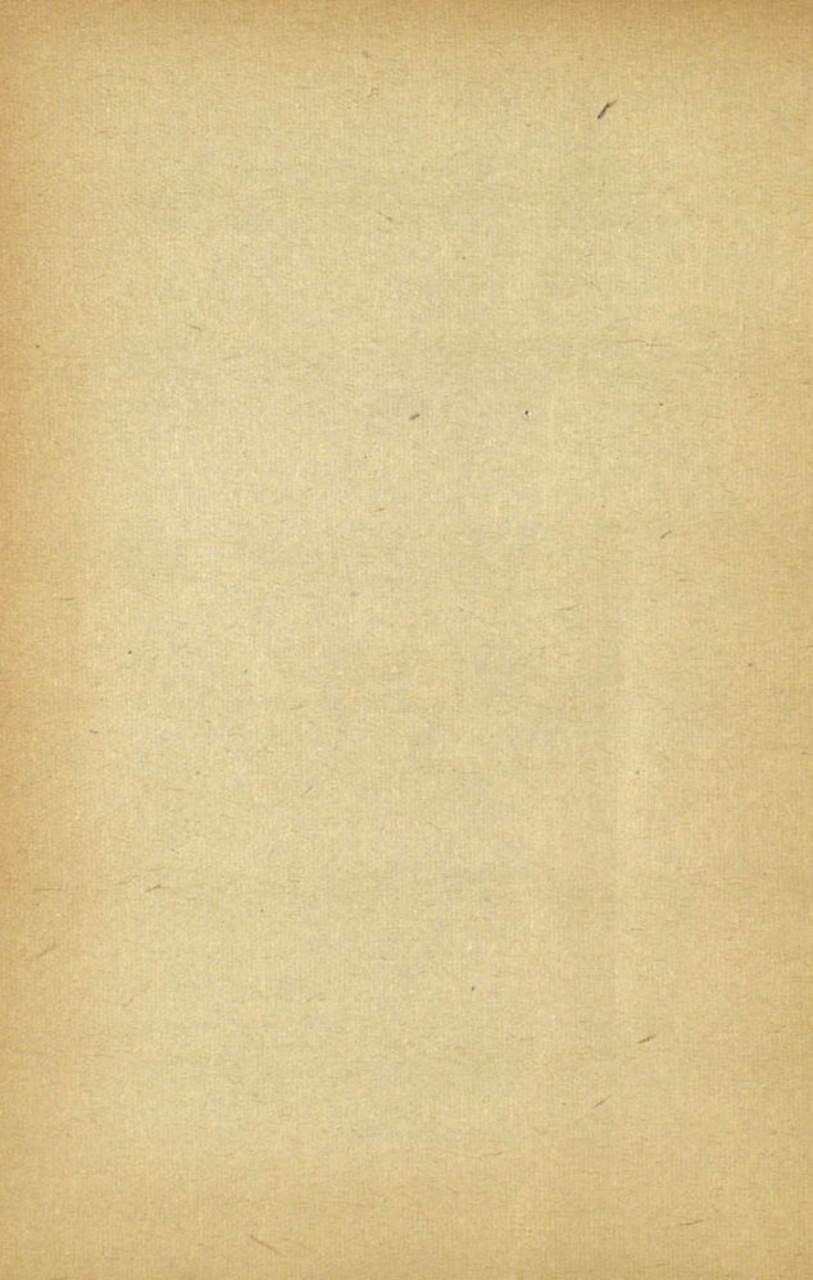
дал, как ребенок... Вот кругом него собрался народ из крепости — он никого не замечал; постояли, потолковали и пошли назад; я велел возле его положить деньги за баранов — он их не тронул, лежал себе ничком, как мертвый. Поверите ли, он так пролежал до поздней ночи и целую ночь?.. Только на другое утро пришел в крепость и стал просить, чтоб ему назвали похитителя. Часовой, который видел, как Азамат отвязал коня и ускакал на нем, не почел за нужное скрывать. При этом имени глаза Казбича засверкали, и он отправился в аул, где жил отец Азамата.

— Что ж отец?

— Да в том-то и штука, что его Казбич не нашел: он куда-то уезжал дней на шесть, а то удалось ли бы Азамату увезти сестру?

«А когда отец возвратился, то ни дочери, ни сына не было. Такой хитрец: ведь смекнул, что не сносить ему головы, если б он попался. Так с тех пор и пропал: верно, пристал к какой-нибудь шайке абреков, да и сложил буйную голову за Тереком или за Кубанью: туда и дорога!..





~~1956-1957~~

~~1956~~

1957-58 г.

15691

Л 492 Лермонтов, М.
Изобразительные
произведения
1р 20к

~~15691~~

~~НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
ДОМА ДЕТСКОЙ КНИГИ
ДЕТГИЗА~~

100=

Цена 1 р. 20 к.

К